КРУГ

АЛЬМАНАХ

КНИГА ВТОРАЯ

ПАРАБОЛА

К Р У Г

А Л Ь М А Н А Х

П А Р А Б О Л А

Druck: Speer & Schmidt, Berlin SW 68.

Борис Поплавскій.

ДОМОЙ С НЕБЕС (отрывок).

О, город, город, ближе к ночи, когда уже сгорѣла заря и только зеленый отблеск ея безконечной полосою свѣтится на западѣ, но воздух еще душен, не успѣвши опомниться от палящаго присутствія солнца, когда стѣны еще совсѣм теплы, а над ними, как раскаленное желѣзо, таинственно ярко вспыхивают красныя линіи неоновых ламп, малиновым заревом падая на листья и лица, в то время как четко, плавно, из раскрытаго окна расточается по воздуху невидимый джаз радіостанціи. Луна над разноцвѣтною водою кажется теплой и близкою, подать рукою. Углубленія желѣзнаго віадука становятся темно лиловыми, а там над ним уже вспыхнули тусклые ряды электрических лампочек, означающих в ракурс видимую станцію подвѣсной желѣзной дороги.

Нечего дѣлать; разомлѣв вдруг от безполезной силы своей и от вечерней душной городской задушевности, выбившись из ритма самозащиты, загорѣлый молодой человѣк сидит на платформѣ, которая періодически пустѣет. Тогда что-то совсѣм дачное появляется в ней, и вновь возникает на противоположной сторонѣ стоически согнутая фигура бродяги, которая сейчас опять

исчезает за многоногой толпой пассажиров. В промежуткѣ станція кажется теперь желѣзным кораблем, гдѣ они двое и распухшій от однообразія контролер, подвѣшенные гдѣ то над городом и временем, молчаливые путешественники без направленія и без возврата, и надо все-таки уходить; «как это всѣм есть куда податься», а ему вот Олегу в сущности некуда и поэтому ему безразлично пойти, спустившись на набережную, направо, или налѣво, или пересѣчь мост Пасси. Олег волоча ноги пересѣк мост Пасси и мимо того же кіоска Трокадеро, гдѣ снова загорѣлся декадентскій газ, дошел до непривѣтливой авеню Клебер, помедлил около Тріумфальной арки, пошел, валандаясь, по полям Елисейским.

Город давил его, вчера, намедни только что вернувшагося с океана, что-то величественно душное было в знакомой печали раскаленнаго вечера на границѣ осени, на границѣ ночи. По широкому проспекту прохожіе шли толпою; люди были здѣсь почище, но не было в них любимаго им, фамильярнаго приволья французскаго пролетаріата, глумливо, остроумно перекликающагося под деревьями, иные тащили пессимистических дѣтей, иные сидѣли в Мопассановских позах на желтых, желѣзных стульях, другая порода, чѣм там на станціи, гдѣ он опять, тщетно проклиная себя за свою слабость, ждал Таню. Там слѣзающіе люди были веселы тяжелой, изомлѣвшей веселостью пропащаго воскресенья; широкоплечіе подростки пересмѣивались с блестящелицыми, осоловѣвшими дѣвушками; отцы возвращались из предмѣстій с цѣлым садом цвѣтов, в клеенчатых мѣшках для провизіи, а священнику было жарко в черном своем талесѣ и он по демократически

обмахивал средневѣковой шляпой свой лысый лоб, на котором от нея оставалась круговая, багровая черта, а позже всѣх, как то боком, из вагона вываливается совершенно пьяный человѣк, едва не застряв в автоматических дверях и так боком, совершенно вопреки законам равновѣсія, подвигается к выходу, и всѣ, с симпатіей, опаской и тайной завистью, на него озираются, а он, тоже кого-то до безобразія переждав, не дождавшись в кафе, что-то сумрачно говорит в пространство, дѣлая тяжелые, невѣрные жесты.

Олег только что вернулся и с нездоровой радостью-печалью осматривает свои владѣнія, потому-что город, особенно эти улицы, был мѣстом, гдѣ он впервые до конца, до слез, возмутился своим одиночеством и, стерпѣв его, ожил какой-то новой стоической, замкнутой, зрительной жизнью, но сегодня он снова, как тогда, незащищен был ни от чего, снова шел куда-то, ждал чего-то и, конечно, невольно взял курс на Монпарнасс — встрѣтиться с товарищами литераторами, и скоро — по знакомым мѣстам — он очнулся от надоѣвшей боли тщетнаго ожиданія на метро Гренель. Снова, побив всѣ рекорды благородства и безхарактерности, он ждал ее почти до десяти часов и снова один попал в тот сумрачный час, гдѣ каждый, размѣстившись, счастлив своим мѣстом, а на улицѣ остались одни лишніе люди, обманутые любовники, безработные иностранцы. Среди них в затихшем уличном воздухѣ однобразно кричали газетчики и радіо неетественным басом возглашало результаты велосипедной гонки; их жгли натруженные ботинки и дикое желаніе не то напиться, не то пожаловаться кому-то старшему и всемогущему, не то подраться с первым встрѣчным.

Шествуя, Олег проходил міры и кварталы с другими прохожими, принадлежавшими, казалось, к другой расѣ. Их раздѣлили промежуточныя улицы, пустыя и мрачныя. Так, на Сен-Мишелѣ, он сразу без перехода попал в сплошное шествіе двадцатилѣтних подростков с дисгармоничными голосами, порочно свободными движеніями и наложенными плечами. Люди здѣсь громко переговаривались, дурили и толкали прохожих. Олег, снобируя их, выкатил плечи и, побитый без единаго удара, потащил ноги вдоль стѣны, вдруг опустившись от усталости на свое привычное мѣсто бывшаго молодого человѣка. На Авеню де л'Обсерватуар нужно было пересѣчь еще один рубеж двух міров, стык двух физіологій, потому-что человѣк с бульвара Монпарнасс совершенно другой породы, и моды, и жесты, и голос другой, то Франція, самоувѣренность живой почвы, от которой, как ни рвись, все равно останешься по пояс в здоровом тысячелѣтнем перегноѣ костей отцов, а то голый человѣк, вырванный из земли, как мандрагора, смертельно остроумный, апокалиптически одинокій.

Вдали огни Монпарнасса уже освѣщали вечер. Олег ожил и сердце его забилось. Старые друзья — старые счеты — старыя самолюбія — старыя униженія и со всѣми, рѣшительно со всѣми у Олега были сравнительныя, невыясненныя отношенія. Всѣм им он в свое время или перехамил или перекланялся, на тѣх сердился, стыдился этих, потом еще путалось другое желаніе пококетничать своим загаром, здоровьем и вновь открывшимся ему счастьем дикости, пустыни, земли, так-что Олег сейчас, мгновенно забывши газетную бумагу и окурки в холодной водѣ дешеваго дачнаго мѣста, на-

врет цѣлую Джеклондовско-Африканскую поэму. Что-то напряженное, рѣзкое, невнимательное к собесѣднику уже кипѣло в нем, он шел к товарищам, вновь уже провалившись незамѣтно в знакомый, скучный невроз, «кто кого пересмѣет», уже заранѣе с тоской зная, что заговорит, перегалдит всѣх и вдруг очнется среди всеобщаго упрека, скуки, совершенно потеряннаго с ними контакта, хотя встрѣтят его радостно, как своего.

И дѣйствительно, едва обошел веранду Ротонды, такую знакомую по давнишним художественным неудачам, Олег уже издали сквозь открытыя окна Наполи увидѣл своих элегантных негодяев, Черносвитова, Околишина, Свѣтобаева, и они искренно обрадовались ему, великодушно грустно распрашивая о морѣ, когда он дѣланно неуклюже, по бандитски, в раскачку копируя какіе-то старые американскіе фильмы, подошел к ним, но не успѣл ни расхвастаться, ни обидѣться ни на кого, потому-что почти одновременно, но с другой стороны подошли к столу Алла Рашкавадзе, Гуля Барк и Катя Муромцева, три подруги или вѣрнѣе двѣ подруги, Гуля и Ала, сутулящіяся молодыя женщины, одѣтыя во все чужое, но элегантное, неискренно, но остроумно насмѣшливыя, и Катя, новый человѣк на горизонтѣ, залетная птица, простоватая, высокомѣрная, купеческая дочь из большеглазой, широкобокой, крѣпко за жизнь держащейся породы.

Всѣ встали и принялись церемонно цѣловать руки, чего Олег растерявшись сдѣлать не посмѣл, но с удовольствіем забрал в свою толстую голую до плеча лапу холодную, влажную руку Алы. Вот это дѣвушка, подумал он, худыя руки, на лицѣ какое наслажденье, по-

лураскрытая худая рука спящей Алы. Это тебѣ не Таня, медвѣжья лапа.

Разговор начался с жалоб на духоту и на сердечную боль от близкой грозы, а та, легка на поминѣ, вдруг тяжело прокатилась громом по крышам домов.

«Смѣшно, сказала Гуля, гром шумит, как будто дѣло дѣлает, а дождя все нѣт».

И как будто ей в отвѣт тяжело, сначала рѣдко, потом сплошь забили по широкому тенту крупныя капли дождя, мостовая сразу потемнѣла и гарсоны в спѣшкѣ, морщась, стали заносить стулья, а сидѣвшіе слишком близко к окнам пересаживаться к стѣнѣ. Дождь теперь так шумѣл, что трудно было говорить. Ала, по грузински злобно таращa глаза, закурила папиросу, и вдруг ночь освѣтилась ярким, дивным свѣтом и с неописуемым треском, рванувшим уши, молнія упала, гдѣ-то неподалеку в сторону бульвара Распай. Олег вскочил и бросился смотрѣть, хотя неизвѣстно на что. А когда вернулся он, Ала и Катя упѣли уйти куда-то, почти со всѣми остальными, и только Гуля Барк мрачно продолжала курить, негромко говоря, что-то Черносвитову, загорѣлому сорокапятилѣтнему сюрреалисту, с лицом испанско-индѣйскаго пастора, в желѣзных стариковских очках, и тот, не оборачиваясь, вѣжливо поддакивал, издавая нечленораздѣльный звук. Этот Черносвитов, словако-испано-русско-французско-раскольниче-антропософскій одиночка, был послѣдним открытіем компаніи, позднѣйшим, но едва ли не самым сногсшибательным. Но скоро тот, как старый опытный волк, хорошо защищенный дикостью своего благородства—отщепенца—встал и по старинкѣ церемонно простился, подав руку дощечкой, может-быть потому что

чувствовал, что именно сейчас он может быть нужен, что Гуля, выпав из компаніи, на мгновеніе за него зацѣпилась. Так-что против воли Олег и Гуля, оба сердясь на кого-то и на что-то, остались друг против друга, старые знакомые, не знали за что ухватиться, чтобы хотя бы для приличія заговорить, но обоих трогало и раздражало это смущеніе и сбитость с толку, но только что он рѣшил наконец заговорить — вернулись Ала и Катя со всей бандой, подозрительно вдруг повеселѣвшей.

Олег, идем в кабак к цыганам.
Да вѣдь это не настоящіе.
Не настоящіе, но поют почище настоящих.

В кабакѣ на рю Монпарнасс, необъяснимо и неприлично названном Кабарэ о Флер, едва вошли, глухой и частый ритм электрическаго граммофона пробудил в Олегѣ какую-то давнюю счастливую и грубую ноту. «Ага, начинается парижская жизнь, распронагони его мать». В тѣсном, карнавально освѣщенном помѣщеніи, сбившись в проходѣ, толкались, дурачились французскіе молодые люди, переодѣтые матросами, они танцовали промеж собою, подражая негритянским тѣлодвиженіям, центр которых, однако, был перенесен с передняго на задній план. Потом свѣт потух, зажегся прожектор и в бѣлом лучѣ его появились накрашенныя и феерически четкія лица русских пѣвцов, что, помолчав мгновенье, вдруг всѣ сразу привычно по кабацки оживились, запѣли знакомыми, чуть церковными голосами:

Милый друг, побывай у меня,
Ты бывай, бывай, бывай у меня.

Олег к Катя очутились рядом между окном и высокой стойкой, и послѣ первой же рюмки между ними возник знакомый, но всегда новый электрическій контакт, мгновенно изолировавшій их от всѣх других, которые по сводническі, то-есть чисто по монпарнасски улыбнувшись, повернулись в другую сторону. Катя щурила свои длинные цыганскіе глаза без рѣсниц, и щеки ея ярко и видимо против ея воли горѣли от выпитаго спирта.

Дорого здѣсь, сказал Олег, рискнув повести разговор на свой дѣланно босяцкій манер. Выйти бы охолстить по одной в бистро, а потом вернуться потанцоват.

Против всякаго ожиданья тон этот понравился Катѣ, и она согласилаь, и в тусклом кафе на Эдгар-Кинэ симпатичные и низкорослые французскіе матросы, на этот раз уже совершенно настоящіе, сообщнически посмотрѣли на него и уже с ними незамѣтно выпили они и расплескали по пяти рюмок сногсшибательнаго кальвадоса. В ушах Олега загудѣло, возвращаясь он не слышал собственных шагов, но зато они говорили наперебой о лѣтѣ, о Даніи и еще о чем-то, что казалось необычайно смѣшным. По их возвращеніи кабак показался другим, болѣе тѣсным, болѣе ярким, ярким и темным в одно время, и в него они, как в родной дом, вернулись.

Дайте, да ходу, ходу пароходу,
Натяните да паруса.

Я за то его любила, за кудрявы да волоса.
Ах, да вы пейте, да пейте иль не пейте,
Все равно тоска сгрызет.
Коню гриву вейте иль не вейте,
Все в канаву да завезет.

Олег теперь уже тяжело дышал и начинал быть опасен в смысле скандала, хотя пьяный, как на зло, сильно слабѣл и его именно тогда ничего не стоило побить, конечно, человѣку его спортивнаго уровня. Освѣщеніе опять мило по балаганному перемѣнилось зажглись красныя лампы и они начали танцевать, вдруг смирѣв от необычайнаго этого факта оказаться в объятіях друг друга, вдруг помолодѣв и изо всѣх сил заботясь о напускном благообразіи, и Олега, как иногда особая культурность ума, поразила необычайная музыкальная податливость этой красивой, крупной, молодой женщины; при быстром движеніи на поворотах все сливалось в один разноцвѣтный туман, все было одновременно и чрезвычайно пріятно и совершенно безразлично сквозь сладкій почти приторный запах Катиных волос.

Умное, тяжелое тѣло, как хорошо, что существуешь, думал Олег, танцуя. И само без науки знаешь, кого тебѣ любить, а вѣдь умом, сколько ни думай, ничего не поймешь, не то всѣх, выходит, надо любить, не то никого. Как воплощенная живая музыка в движеніи, ты то замираешь на четверть мгновенья, то плавно идешь назад, то с разгону поворачиваешься, покачиваешься, наклоняешься, и сколько смысла в грозном остерегающем сіяніи твоих глаз. Когда-то Олег чуть не задохнулся от удивленія — благодарности, прочтя у Геге-

ля, что тѣло есть воплощенная, явная, реализированная душа; значит не обуза, не завѣса, а совершенство и роскошь творенія, злое, оскаленное, дрожащее, как струна, когда над ним среди хлопанья флагов и рева толпы вот-вот щелкнет, ахнет выстрѣл стартера, и тогда нужно будет, в мгновенье выпрямившись, всю душу, все сердце, всю жизнь вложить в первый отчаянный бросок, чтобы грудью, зубами, лицом вырваться вперед, потому-что все в состязаніи зависит от этого перваго рывка или то же тѣло легко, тяжело, привольно, с шумом дышащее, выдыхающее воздух под воду, когда, привыкнув к ритму, привычным движеніем выкидывает оно перед собой руку, всѣм существом, как лента, как рыба, поддаваяь вперед; тѣло плывущее, тѣло танцующее, тѣло любящее со сжатыми зубами; уже не хранящее, не берегущее себя, счастливо, злобно, храпящее, борющееся, побѣждающее, теряя голову слабѣющее, освобождающееся вдруг. Как наивны тѣ, кто хотѣли бы имѣть другое тѣло, не находя себя в себѣ; и прямь они или не знают своей красоты или не подозрѣвают безобразія тайнаго своей души.

Забыв о своем отдѣльно-бытіи, забывшись Олег и Катя танцовали, как будто они в самом дѣлѣ были одним существом. А когда они возвращались к стойкѣ и поравнялись с хорошо подстриженным, гладким, похорошѣвшим от водки лицом Околишина, этого еврейскаго лорда без гроша в карманѣ, он с слегка сообщнически покровительственным видом, но так умѣло, незамѣтно сказал Олегу:

Поздравляю, только не радуйся слишком скоро.

Но Олег не внял предупрежденію, сердце его, со всѣм его золотом, скопленным, тяжелым, невыносимо

таяло, раскрывалось, тратилось вдруг на этого неизвѣстно откуда, на радость ли, на горе ли взявшагося, невысокомѣрнаго, новаго человѣка, который теперь танцовал с каким-то молодым метеком, то-есть французом в терминологіи Олеговой, высоко до деревянности, до комизма, но элегантно носившаго лакированную голову. Катя вдруг остепенилась и пришла в себя в руках дисциплинированнаго кавалера и цыганское чернокрылое, чернобровое антично-коровье лицо ея теперь совершенно ничего не выражало, и вдруг Олег поразился как бы сквозь сон, до чего она была хороша в эту минуту, когда, выставив назад красивую, полную ногу чуть неправильной формы («Ага, кавалеристка и ты»), кончавшуюся такой безупречной горбатой ступней в тонкой туфлѣ, чуть замѣтно, ни много, ни мало, а ровно сколько нужно, касалась носком оранжеваго пола сзади себя и Олег не мог не восхищаться даже ея партнером — «Муштрованный сукин сын, с каким удовольствіем je lui aurais cassé quelque chose» — но вмѣстѣ с тѣм смутно, глухо, позорно чувствовал, до чего Катя привыкла, привычна, естественна в хорошем обществѣ, для него совершенно недоступном, муштрованных, сдержанных, энглизированных собачьих дѣтей, которым он так завидовал, и до чего ему трудно будет с его ненавистной ему широкой натурой не понравиться ей — «c'etait déjà fait» — а войти в ея жизнь, удержаться около нея. В эту минуту он ощущал себя всклокоченным босяком, и ему хотѣлось не то драться, не то проснуться, уйти, раскрыть своего Гегеля. Да, а Гегель, подумал он и понял, что и Гегель ничего здѣсь помочь не может, ибо только увеличивает осатанѣлость, остервенѣлость его и так обычно некстати и на горе

себѣ являвшуюся рѣшимость. Но горькія мысли вдруг оборвались, потому-что Катя бросила кавалера, подсѣла и, взяв Олега за руку, «ну, тяжелая голова, замрачнѣла, спѣлъ бы лучше что-нибудь, говорят, поешь хорошо» и вдруг, подурнѣв и раскраснѣвшись, но все таки успѣв подмигнуть ярко розовому, но попрежнему безупречному Околишину «мол насвистался мой поклонник»: вдруг подурнѣв, засмѣялась, показывая неровные зубы, неловко прикрыла их фантастически бѣлой рукой, стала вдруг до того по братски, по бабьи, по исподнему мила, что Олег понял, что не на день, а на долгое время пропала его голова, в то время как снова ожившій хор пѣл теперь:

Стаканчики граненые упали со стола.
Упали не разбилися, разбилась жизнь моя.

Олег теперь все больше пьяно мрачнѣл и невѣдомо откуда возлѣ него оказалась Ала, худая, глубокомысленная и мило безпомощная глубокоокая грузинская княжна.

— Слушай Алик, ты опять и пьян, и мрачен, и влюблен, кромѣ того держу пари, что ты сейчас будешь драться. А Олег неожиданно серьезно дѣловито, не до шуток просто:

— Кто она, Ала, откуда взялась. . .

— Купеческая дочь из Даніи, тебѣ под стать, только ничего у тебя не выйдет, потому-что не умѣешь ты фасон держать, как у нас в лицеѣ говорили. — Олегу показалось, что это о нем поет хор:

Прощаюсь ноне с вами я, цыгане,
И к новой жизни ухожу от вас.
Вы не жалѣйте меня, цыгане,
Прощай мой табор, пою в послѣдній раз.

«Как хочется хоть раз, в послѣдній раз повѣрить. Не все ли мнѣ равно, что сбудется потом... Любви нельзя понять, любви нельзя измѣрить, а там на днѣ души, как в омутѣ рѣчном»...

Да конечно, не все ли равно и не минуло ль в море то яркое облако, эта память о лѣтнем просторѣ... Ночь грозовая смотрит в окно, ты забудешь и счастье и горе, ночь и дождь, и не все ли равно, как все это промчалось давно.

Катя сидит на полу, покрывши кончики туфель темно-зеленой шелковой юбкой, старым, въ крови передававшимся жестом держит гитару. Уста ея едва шевелятся, голос ея еле слышен... Что она поет, напѣвает, говорит, уставившись куда-то в дальнюю стѣну пустой комнаты широко открытыми глазами. И здѣсь среди бѣлой модерной мебели, разбросанных книг и пустых бутылок, бумаги, чемоданов; в этом уже покинутом жильѣ, в хаосѣ переѣзда Катя на коврѣ спокойная, родная, безконечно русская, едва касается пальцами гитары.

«Не надо ничего, ни поздних сожалѣній, ни равнодушных слов, былого не вернуть; лишь хочется еще на нѣсколько мгновеній в рѣчную глубину без страха заглянуть»...

Да, Олег, без страха. Пыль клубится над жаркой землею, степь без края погасла, устало, еле слышно

пыльной тоскою пѣснь в степи у костра погасла. . . Солнце землю спалило огнем, все свалилось во сны без отрады, только голос над мертвым костром напѣвает по древнему ладу. . . Жизнь промчится, а жить не успѣть, что ж, помолимся Богу, с гитарой будем пить, будем ждать, будем пѣть пѣснь о счастьи, несущемся даром. . .

Медленно сквозь пьяную душу Олега несутся звуки, только что, вдруг замерши, вдруг присмирѣв, они долго и еле слышно говорили о снѣгѣ, о толщинѣ деревянных стѣн, о ночниках, свѣчках, керосиновых лампах, о подоконниках, на которых опершись на локти лежат подростки. Безконечно долго слѣдя, как рано на сѣверѣ кончается день, и удивительно торжественно, удивительным благообразіем раскаянья, опрощенія, возврата звучали эти слова в тишинѣ предмѣстья, в глубинѣ ночи.

Дома, куда Катя, пересмѣявшись и перехулиганив, пьяно-серьезно пригласила Олега, по русски лукаво, отчаянно, прямо глядя в глаза, и он понял, и у нея дома ни разу не подсаживался, не приставал, не пытался ее обнять, развалясь курил в креслѣ, пьяно высокомѣрно философствовал, грустил, слушал. . .

«Проходит солнца луч сквозь замкнутую ставню и в нем, как от вина, кружится голова. . . В ушах еще звенит твой разговор недавній, как то рѣчное дно, темны твои слова». . .

Как будто издалека, из другой комнаты долетает, доносится голос, шопот, причитанье, нытье, напѣв. Как из міра иного, из жизни иной, Божественно успокоенной, привольной, родной, совершенно лишенной вѣч-

наго его обезображивающаго усилія, напряженія, изувѣрства, отчаянія, страха... Жизнь без религіи, нѣт, вѣрнѣе с Церковью и свѣчами, но без вѣчнаго его злого мистическаго сумасшествія одинокаго, пещернаго, раскаленнаго, Вавилонскаго пыла недостижимой святости...

Ах лѣса, лѣса, овѣйте, шумом своим успокойте изувѣрскую дикую душу мою. Ляг во тьмѣ и внимай, как неспѣшно поет соловей... Потеряй свою душу в высоком сосновом раю... Слишком долго ты рос на вершинѣ, от свѣта ты сходишь с ума. Раскаленное солнце пустыни сжигает широкія плечи... Тихо всходит луна, над болотом устала сосновая тьма... Ты вернулся, ты спишь, от зари и земли не далече...

Ах Катя, Катя, домой с небес, из раскаленнаго ада святости, жестокости, спорта и книг на землю в смиреніи труда, усталости и физической любви... Ах Катя, как скучает дьявол-подвижник на своих Вавилонских горах, о землѣ, о травѣ и о бѣлой круглой тяжелой груди своей родины. Но дверь вдруг открывается и в дом невѣдомо откуда и как вваливаются Ала, Черносвитов, Гейс, Околишин, Черапаходов и оскорбленные, внезапно разбуженные, Катя и Олег поднимаются с мѣст, и Олег уходит, ошалѣв от любви и обиды...

Праведность... Сидѣніе на стулѣ, который каждую минуту исчезает из под ног, как будто его изнутри выѣли термиты. А тогда мгновенно задом об землю, затылком об кофейную стойку... Покой в Богѣ, вот что почти никогда недоступно подвижнику... И все-таки грѣх знает свой покой; напр. Ассирійскій покой длин-

ноглазых женщин из кафе, которыя все утро проводят за тщательным омовеніем, одѣваніем, раскрашиваніем своего тѣла. За телефоном или в кровати за иллюстрированным англійским журналом, но и этот покой кончаетя безпокойством: ожирѣнія, гонореи, скуки. . . Или тогда твой металлическій покой без возврата о, Безобразов, стеклянный ангел над золотой колесницей. . .

Покой в Богѣ, покой весны. . . Бог примиряется с человѣком, когда тот откупается от него обрѣзаньем, женитьбой, капитуляціей, охолощеніем мистической опасности, геніальности, одиночества, дѣтства. . . Потому что дѣвственников Он сам преслѣдует, терзает Своей непосильной любовью. . . «О прекратись, исчезни, погасни, стонала Тереза в мистическом обоморокѣ, или я умру, сгину, не выдержу и душа моя оторвется от тѣла».

Вѣчная внутренняя борьба, неожиданныя самыя глубокія, самыя горькія паденія просто от усталости, переутомленія слишком долгих молитв, до звона в ушах, соленаго, криваваго вкуса во рту и свинца-стекла в переносицѣ. . . Долгіе, бѣлые дни без храбрости, без счастья, без сил, совершенно без благодати над недостроенными развалинами потерянной, недооцѣненной, небреженіем проигранной, недоигранной внѣшней жизни, проклятіе раскаленной дороги, свинец в руках и в сердцѣ—аскеза, благодарю вашу душу, мать... И вдруг страшно ослѣпительно, до страха внезапно, раскрываются двери в глубинѣ сердца, с той стороны двойной воронки и нестерпимая, невыносимая слава, оглушительныя слезы счастья, присутствія, физическаго присутствія Бога, принадлежанія, преданности, проданности, обреченности Богу, когда еле успѣваешь крик-

нуть, не успѣваешь зажмуриться и сердце уже рвется, горит, разрывается, разрушается, тает, течет, исчезает в потокѣ Божественной любви, а когда наконец глаза, изъѣденныя слезами, открывались и Олег, всклокоченный, грязный, с тяжело бьющимся сердцем. слѣзал с дивана... Жизнь сперва представлялась невозможной, но потом, поѣв, побрившись, он вдруг оживал к болѣзненно-яркой, безсмысленно-интенсивной жизни Монпарнасса. В слишком широко раскрытых, слишком свѣточувствительных глазах мір казался полным огня, каждый дом спящим на солнцѣ, притворяющимся добродушным чудовищем, каждый угол, каждое закатное облако, каждый фонарь казался одушевленным существом, притаившимся ангелом, демоном, огненной бабочкой, медленно полыхающей в сумерках... При встрѣчах дикая больная радость общительности вырывалась из сердца... Олег так много говорил, так хвалил, восхищался. галдѣл, что у случайнаго встрѣчнаго создавалось какое-то болѣзненное, неловкое ощущеніе, так что тот спѣшил поскорѣе от Олега убраться... От одного человѣка до другого, от столика к столику, иногда смѣша до упаду, иногда страша до отвращенія, Олег перешумит, пересмѣется, переволнуется и, еле живой, с бьющимся на лѣстницѣ сердцем, доберется, повалится (и это он, атлет и пловец), рухнет на продавленный диван и, о ужас, не сможет заснуть... Горя сумасшедшим болѣзненным блеском, безсвязные образы будут нестись перед его глазами, подушка будет слишком низка, все тѣло будет чесаться, и он поминутно будет вскакивать, палить свѣт, скрежеща зубами искать невидимых блох... Потом, наконец, собравшись с силами, заставит свои мысли остановиться, весь сжавшись,

уставившись, замрет в непроглядной тьмѣ, и тогда новое бѣдствіе, галлюцинаціи, кошмары на яву обступят его... Мебель начнет двигаться, платье на вѣшалкѣ примет форму повѣшеннаго человѣка, что-то безформенное, полудеревянное, полубумажное закопошится на лѣстницѣ, и так до разсвѣта, пока он вдруг не провалится в безсвязные, унизительные сны.

Олег уже два дня не медитировал. Тяжкое, мутное оцѣпенѣніе счастья, вина, Катинаго присутствія, превратили его жизнь в поток картин и мрака, среди которых он не может проснуться. Плывет уносимый горячим теченіем, вѣчно спѣша, волнуясь, стирая носки, бреясь, цѣлуясь с тяжелой головой, посреди мечтаній: о выигрышѣ в національную лотерею, о такси, засыпает и долго не может проснуться или сразу вскакивает, вспоминая, не пропустил ли свиданія.

Ошалѣв от объективности, вошедшей в жизнь, от чужого присутствія в своем, от внѣшняго отзвука, о котором он так долго выл, а теперь почти жалѣл... Часто, возвращаясь домой, он с ненавистью смотрѣл на свои блестящіе башмаки, напоминающіе ему, что он цѣлый день валялся на диванѣ или на постели, цѣловал, нюхал, ощупывал молодое, живое, опасное тѣло. Архитектурная симметрія его одиночества была соверершенно разрушена, и он вѣчно, с гнусным, подозрительно наглым видом, куда-то спѣшит... «Ах остаться бы дома»... вдруг ревѣл он в бѣшенствѣ, «не бриться, ходить в неглаженных брюках» — в сортирѣ грустил, пѣл, свистал (своя жизнь, скрытая от всѣх).

. . . .

Дни смѣняются днями. У каждаго имѣется разсвѣт, котораго никто не видит, кромѣ бродяг и пьяных, нехотя щурящихся на небо. У каждаго дня имѣется вечер, который неуловимо начинается в цвѣтѣ читаемой страницы, медленно переходящем из желтаго в розовый, голубой, сѣрый, черный — тогда почему-то не хочется зажигать свѣт, чтобы не путаться, умирая от грусти, между двух огней, как нѣкогда Олег между Аполлоном и Терезой. Неподвижно, с книгой в руках, темная личность смотрит в пространство, обдумывая сложную и горькую географію своего одиночества, гдѣ де и через какую границу ему через него попытаться перейти, чтобы вскорѣ насильственно и с позором быть вновь в него водворену, подобно административно высланному, принудительно возвращаемому в исходную тюрьму.

Весь этот, такой знакомый, скучный горный ландшафт чудесно исчез вдруг с Олеговых глаз. Его замѣнило вѣчное ожиданіе, неустанная тревога и боязнь перепутать свиданіе, мѣсто и время встрѣчи, какая-то занятая, кокетливая беззаботность-озабоченность в разговорѣ с товарищами, как будто нашел службу или получил наслѣдство. Особенно счастливыми были сборы Олега, когда, неестественно оживившись и вынырнув вдруг из книг, в которых он по медвѣжьему обростал волосами, пух и начесывал брови до лысин, ковырял в ухѣ и скреб голову, вдруг из міра призраков, из внѣвремени, одним движеніем выплывал он в настоящій день, мыл ноги, что рѣдко обычно дѣлал, стоически любя грязь, запах кала, пота, табаку, мочи; стирал и зашивал носки, вытаскивал из под тюфяка отлежавшіеся и еще теплые брюки, брился, тер до красна мор-

ду грязным полотенцем и помолодѣвшій, похорошѣвшій, на когтях выкатывался на улицу, расправлял плечи в осенней сырости, еще лѣтній, загорѣлый, живой, летѣл, шел все время себя сдерживая, к Катѣ. Если бы он себѣ позволил, он бы бѣжал всю дорогу и только потому не дѣлал этого, что боялся неприлично вспотѣть и переволноваться, ибо для него, и так постоянно неестественно возбужденнаго и пьянаго без всякаго вина, самым авантажным был именно первый момент встрѣчи, когда лицо еще сохраняло так идущую диким натурам неподвижность, замороженность улицы, холода, одеколона и смущенія. Катя жила в отелѣ на бульварѣ Монпарнасс, и он по дорогѣ проходил мимо двух пар часов — один в глубинѣ гаража на Обсерватуар, другіе — над зданіем бани, и вѣчно они показывали слишком мало времени, и надо было еще крутить по кварталу, нагоняя минуты, что давалось с трудом. Наконец послѣдняя оглядка на себя в зеркалѣ (вредная, между прочим, ибо знал он, что увеличивает застѣнчивость), и Олег, напрягши всѣ мускулы, как боксер, встающій с своего табурета, входил в подъѣзд. Этот напряженный, отчаянный вид дѣлал его сугубо подозрительным в глазах хозяина, сквозь котораго приходилось каждый раз пробиваться чуть не моральным насиліем, и вот уже он на лѣстницѣ. Потому-что хозяин и хозяйка были всецѣло на сторонѣ Салмона, пріѣзжавшаго всегда на автомобилѣ и умѣвшаго разговаривать, и Олег еще вчера наткнулся на характерное проявленіе этого предпочтенія. Катя гдѣ-то закрутилась и опоздала, Олег походил под дождем, потоптался под тентом книжной торговли и, вернувшись, сквозь стекло двери увидѣл записку, нацѣпленную на крючок от клю-

ча, входя не удержался, чтобы не отогнуть пальцем и прочесть: «Mr S. ne viendra pas ce soir». Олег успѣл уже подумать, что этот сукин сын сам о себѣ так величественно в третьем лицѣ написал, когда на него налетѣл хозяин с угрожающим: «Qu'est ce qu'il y a?» Олег смирился и ушел, но зато Катя его вознаградила, нарочно громко шутя перечитав записку ему при хозяинѣ, и, так продолжая посмѣиваться и помахивая запиской, поднялась по лѣстницѣ.

Эту встрѣчу, когда Катя одѣвалась при нем, он вовсе не оцѣнил тогда, но теперь, когда больше ея не видѣл и не мог видѣть, малѣйшія ея детали отчетливо до мучительности оживали перед ним. Вспомнил он, как Катя душила кончиком пальца губы свои и мочки ушей, все время лукаво, тревожно, в упор смотря на него в зеркало, и как он безпомощно гордо удерживался или попросту все не рѣшался обнять ее и поцѣловать, переминаясь и не цѣня своей силы тогда заставить ее опоздать к Сальмону. И все-таки она опоздала почти на час, опоздала из за слез, которыя вдруг потекли, накатившись из-за края ея огромных глаз без рѣсниц и тогда сурьма расплывалась по щекам и все надо было начинать сначала.

Перед самым отходом, в приготовленіи к которому было все отношеніе Кати к Олегу (отношеніе опустившагося человѣка, двойственное из за слез, опозданія, чуть прикрытых насмѣшек над запиской и того, что она так тщательно одѣвалась, красилась, душилась, стоя у ночного столика и с усиліем глотая из горсточки какую-то шоколадную крупу, от одного вида которой Олегу становилось больно на сердцѣ), Катя смѣясь неизвѣстно над чѣм, молвила:

«Каким это вы жалобно гимназическим голосом это сказали: Ах уже надобно идти». А он, Олег мгновенно насупившись и приготовясь к отпору:

— Вам не нравятся жалкіе голоса.

«Нѣт, я люблю такой голос. Так спрашивал всегда тот бѣлобрысый из униврнитета, котораго я любила»... Олег ожил, но это и была его послѣдняя удача, которую он еще смог оцѣнить. Мука разлуки с Катей уже туманила ему голову и он плохо соображал, зачѣм ей понадобилось тащить его до самаго кафе дю Дом, а главное еще болѣе, зачѣм ему было туда входить вмѣстѣ с ней, хотя уже нѣсколько раз он начинал прощаться. Не понял он тогда может быть самой большой своей побѣды, а именно, что Катя хотѣла, чтбы Сальмон увидѣл его. Хотѣла нарочно столкнуть их на узкой дорожкѣ, защититься Олегом и ожить к гордости счастья.

Сегодня же Олег, поднимаясь по лѣстницѣ, вспоминал другую яркую до муки минуту. Конечно, Олег переделикатничал. Потом вспоминая невесело скажет: «par délicatesse j'ai perdu ma vie»... Десять раз Катя ждала, что он потеряет голову, поцѣлует, обнимет всею тяжелою своей теплотой, но знакомство с Безобразовым и Танины дни не прошли для него даром. Олег то сіял нарочно счастливым холодным теплом, то дѣйствительно смутно боялся чего-то непоправимаго, аскетически страшился паденія в горячій омут, и это было грубо. Катины руки вдруг разжимались, что-то злое, кокетливо скопческое появлялось в его неуклюжей усмѣшкѣ, но зато во снѣ свѣт ея тѣла раскрывался всецѣло и он просыпался, весь дрожа от счастья, как будто бы вдруг с солнцепека попав в темную комнату, ничего почти не видя и не понимая в первую минуту.

Снился ему какой-то низкій деревянный дом, гдѣ-то среди ярко освѣщенных песков, поблизости, но не в виду моря.

Он, Катя и Таня разсматривали какія-то загадочныя символическія картины, картонки, карты, которыя от их вниманія оживали и начинали двигаться..

Потом всѣ трое, радуясь тому, что это возможно, совершенно голые шли по какой-то узкой оранжевой дорогѣ, прорубленной в скалѣ, ярко и ласково смѣясь и так по скалистым ступеням сошли на берег.

Потом в комнатѣ, обитой бѣлыми чехлами, в ярком сіяніи сада, Катя лежала на Олегѣ, наполовину оставаясь все-таки на воздухѣ, и все его тѣло пило, вбирало в себя ея присутствіе, потом еще другіе сны.

В тот вечер, который Олег вспоминал на лѣстницѣ, поднимаяс за Катей и жадно всматриваясь в тяжелую грацію ея ног, как мускулы на них напрягались при шагѣ и как, подымаясь на ступеньку, они обнажались, как двое работающих древних божеств, немного болѣе обычнаго, в тот вечер они уже долго сидѣли обнявшись, все же не рѣшаясь откровенно цѣловаться в уста, но со страхом счастливо нѣжничая и гладя друг друга. Катя наконец отлежала руку, откинулась, закурила папиросу, запрокинув голову и выпуская дым к потолку. Синяя охотничья куртка ея сбилась, задралась кверху и между ней и старой шелковой юбкой блеснула безпорочно бѣлая, удивительно гладкая полоса тѣла. Рука Олега, дойдя до этого мѣста, остановилась как бы обожженная, но через нее по всему ея тѣлу разлилась горячая яркая радость какой-то несбыточно горячей откровенности. Катя поняла и замерла в тревогѣ, на-

дѣясь, боясь его предпріимчивости, но Олег снова не рѣшился продолжать в том же духѣ и Катя, осмѣлѣв и передвинувшись, вся выгнулась, дугой свѣсивъ ноги с края кровати и слегка раздвинув их. Она отвернула голову и сказала по цыгански сквозь зубы: «Ах я должна была бы совсѣм не так с Вами обращаться», прямо намекая на то, что они теряют счастливое время, но Олег, так давно уже ведшій насильственно цѣломудренную жизнь, весь похолодѣл от неожиданности и испугавшись, что он не возбудится, как слѣдует, дѣйствительно болѣзненно нервно остыл совершенно.

Катя встала, вдруг постарѣвшая, с лицом, налитым кровью, она вообще слишком легко краснѣла и тонкая ея кожа быстро наливалась кровью от счастья, от лжи, от злобы. Она пила воду, глотала шоколадную крупу, курила и щурилась.

Успѣем еще, успокаивал он себя, не зная, как это часто бывает, что это и были самые счастливые их дни, по дѣтски недооцѣнивая и пренебрегая ими, не вѣдая, что завтра скоро Таня снова выпустит свои когти и счастье его с Катей запутается в ссорах.

Между зеркалом и чемоданом ничком лежит Катя, совершенно одѣтая, даже в пальто с милыми его мѣховыми эполетами. Быстро закрыв дверь, Олег скинул пальтишко вмѣстѣ с пиджаком, подался к ней и легко поднял ее с земли, со страхом почувствовав на руках мягкую и дорогую тяжесть ея спины и бедер. Положил на кровать, цѣломудренно одернув юбки, вдруг на кровати Катя очнулась, быстро невнятно забормотала что-то, тяжело отсутствующе осмотрѣлась, узнала Олега и, вдруг протянувши к нему руки, притянула его к себѣ и обычно такая гордая и неприступно-рас-

четливая, головная, спряталась головою к нему в свитер и, отчаянно прижимаясь к нему, зарыдала.

Долго, долго бормоча и сопя носом, Катя плакала, потом устала, слабо повела головой и задремала, клюнув носом рядом с Олегом, мучительно отлежавшим руку, не смѣвшим двинуться. Из ея бормотанья он узнал, что они встрѣтились вчера с Сальмоном в Кафэ дю Дом, и тот, чувствуя недоброе, повез ее пить, что выпивши они, наконец, объяснились, и что она впервые откровенно с ним говорила и что он вдруг перестал хамить и задаваться, съежился, подался и заговорил о том, что ему уже тридцать пять лѣт, что он не хочет губить ея молодости, сразу перевернув сердце ей, наивно недооцѣнивавшей свою власть и ожидавшей ругани, грубости, может-быть даже драки. Что послѣ этого он по товарищески напросился к ней наверх и что сперва все было очень хорошо, а потом опять все было тоже самое, послѣ чего она ревѣла, до пяти часов не спала, утром же одѣлась, чтобы идти по дѣлу, и вдруг завертѣлось все в головѣ.

Время шло. Плача, сопя, бормоча во снѣ, Катя все крѣпче пристраивалась к Олегу, тычась в него носом, как медвѣжонок, ища защиты, и сердце Олега таяло, рвалось, сопѣло, бормотало от нѣжности, но было ему тревожно, не очнется ли она вдруг и не разсердится ли на себя и на него за свою слабость. Однако Катя очнулась совсѣм по другому. . . Засмѣялась, даже напудрилась, шутя над собою, и послала Олега в бакалейную лавку, но до этого было еще одно небольшое, но мучительно счастливое словесное происшествіе. Олег, согрѣвшись около Кати, скинул свой морской светер, не забыв со спортивным кокетством закрутить рукава без-

рукавки до самаго толстаго плеча, обнажив свои перетренированныя руки. Катя прильнула к этим рукам лицом, закрыв глаза, и вдруг помолчав сказала: «Как хорошо, что у тебя такая гладкая коричневая кожа... Страсть не люблю волосатых рук, черную спутанную шерсть на руках... Бррр...» и вся болѣзненно, не открывая глаз, содрогнулась от отвращенія, и Олег понял, что длинная черная борода на бѣлых и вѣроятно скелетических руках росла именно у Сальмона и что, это ее вспомнив с отвращеніем, Катя прижалась к нему, Олегу... Торжество его в эту минуту над соперником было полное и, как всегда в невыносимых случаях, он внѣшне пропустил эти слова мимо ушей, ревниво схоронив их в сердцѣ.

В итальянской бакалейной колбасной Олег накупил сосисок, пива и квашенной капусты с салом, зная навѣрно, что всю эту убоину он как вегтеріанец ѣсть не будет, но это его не трогало, ибо как здоровый человѣк он от волненія забывал совершенно о ѣдѣ и снѣ.

Платя Олег не преминул жалко пококетничать перед кассиром, независимо извлекши Катины сто франков, хотя и показав этим самому себѣ, что в эти сказочные дни его и Катины деньги казались общими. Все же идучи на свиданіе, Олег старался хотя бы папирос купить на свои, чтобы хотя бы спервоначалу не курить, не тратить ея Люки Страйк, хоть их и до страсти любил. Но вокруг денег, вдруг разставшихся их денег, и начало внѣшне разлагаться их счастье, ибо именно изза денег были их послѣднія самыя ядовитыя обиды.

Таща все в объятіях, Олег возвратился в отель и уничтожил хозяина счастливым своим видом. Но наверху выяснилось, что ни ложек, ни вилок, ни стульев

в комнатѣ нѣт. Катя прямо на чемоданѣ, на бумагѣ разставила харч. Сѣла рядом на пол (она вообще любила сидѣть на полу, уютно по помѣщичьи покрыв юбкой даже самые кончики туфель)... Олег неуклюже неудобно сѣл на другом краю (он всегда нервически слѣдил за своими движеніями, стараясь красиво и мужественно вставать, ходить, закуривать, и поэтому часто был до смѣшного неестествен, даже комичен).

Теперь Катя, выплакав свое горе, руками ѣла капусту, запивая ее прямо из полбутылки англійскаго пива с тмином, и с набитыми щеками смѣялась милым своим пухлым лицом, сплошь напудренном в спѣшкѣ, так что и рѣсницы побѣлѣли. Как здоровый человѣк, духовныя муки котораго в концѣ концов выражаются в диком голодѣ, Катя ѣла почти по волчьи, почти жрала, бравируя неряшеством, мужицким манером, в то время как руки ея, бѣлыя до фантастичности, громко говорили о ея высоком происхожденіи... Теперь на нее нашла безудержная смѣшливость, она разсказывала анекдоты, пыталась разсказывать все с полным ртом, закрывая его руками, чтобы в спѣшкѣ смѣха не опростать на собесѣдника, наконец до того пережралась, что уже не могла сказать ни единаго слова и только неумѣло сдерживалась, чтобы не икать. Что-то скотское, милое, родное, животное, было в этом обжорствѣ для Олега, котораго любовь попрежнему лишала всякаго голода и которому все было равно, кромѣ нея... Отдышавшись, они сѣли снова на кровати лицом к окну, рядом, и окружили себя табачными облаками... Катя пересмѣявшись молчала, тяжелыми масляными глазами уставившись в тусклую, окруженную овальными мірами дыма электрическую горѣлку.

Медленно углы комнаты исчезали в темнотѣ. Окно было совсѣм голубое и там по ту сторону улицы уже желтыми пятнами зажегся свѣт в сосѣднем домѣ. Там жили люди тяжелой мѣрной увѣренной жизнью, враждебной обычно Олегу, но сейчас, казалось, он помирился с нею и с дождем. Подойдя к окну, он видѣл темныя низкія облака, блестящую улицу, зеленоватый свѣт фонаря на углу, но и это было теперь нужно и не щемило сердца. Часы шли. Они почти ни о чем не говорили, вдруг смирившись жить и быть счастливыми; с глубоким удивленіем, благодарностью покоя, переговаривались в темнотѣ. Теперь Катя лежала у него на колѣнях, сама устроившись, сама уткнувшись лицом в его темный черный светер собачьим русским родным жестом, кторый так любил Олег, и снова ему захотѣлось в Россію, все ледяное европейское барство скатилось с плеч, и он чувствовал себя русским всклокоченным студентом с противорѣчивыми убѣжденіями. И было что-то, в их молчаливом сидѣніи в чужом гостиничном номерѣ чужой страны, от синевы русскаго лѣса, от несказанной грусти поздняго вечера в Сокольниках, гдѣ, часто слишком далеко зашедши со своими лыжами и отбившись от своих, они сиживали на бѣлой смерзшейся снѣжной шапкѣ на скамейкѣ и всматривались в непередаваемую синеву снѣга, кончавшуюся чернотой деревьев. Медленно, высоко над вершинами сосен, летѣли вороны и протяжный неспѣшный грай длительно сжимал сердце и вдруг, издали кажучись свѣтящимся домиком, со звоном по снѣгу приближался трамвай и два красных огня чѣм то сказочным, пряничным, заброшенно грустным, свѣтились над ним.

От куренія пересыхало горло, Олег пил воду, зажи-

гал спичку, снова усаживался пристраиваясь поудобнѣе, и снова длилось счастливое время с баснословной щедростью, которую дает обезпеченность, молодость, отчаянность. Только иногда гарсон стучал в дверь или вспыхивал и гас свѣт. Катя спускалась к телефону, но скоро возвращалась, разсказывая, что переусловилась, наврала, но осталась свободной.

Потом, идучи домой, Олег спрашивал себя, в чем же собственно дѣло и почему порвалась для него связь времен так сильно, что он вдруг совершенно потерял прошлое, почти не думая о Танѣ — кстати гдѣ она — и он радовался, что ему все равно.

Каждый из нас ходит по улицѣ со своей одиночной камерой на плечах и как только остановится перекинуться словом с пріятелем, пруты, как живые, врастают в землю перед ним. За одним столом, как в американской каторгѣ, люди разговаривают из-за рѣшеток, вѣжливо по волчьи сверкая бѣлыми зубами. Но как наивен тот, кто примет эту обходительность за полноцѣнную монету, как быстро ударится он мягкой мордой в невидимые прутья. Ибо у каждаго человѣка есть такая предѣльная цѣна, за которую он тотчас же продаст любого товарища (развѣ какая нибудь на свѣтѣ дружба перешибет любовное свиданіе)... Для меня эта цѣна франков пятьдесят, для другого немного поболѣе, смотря по образу жизни. В Фавьер Олег хорошо понял, что живет в каменном вѣкѣ, что под легким слоем пудры ледниковая грубость жизни выпрастывается на каждом поворотѣ, что можно разсчитывать только на себя или на временно замороченнаго любовью человѣка и ровно столько дней, сколько длится навожденіе. От этого была его новая ставка на физи-

ческую силу, здоровье, образованіе, высокомѣріе, ибо наглая замкнутость казалась ему честнѣе, вѣжливѣе неосуществимой любезности и в ней ему чудилось больше чувства первороднаго грѣха, больше откровенности в органической невозможности кого бы то ни было морально полюбить, к кому бы то ни было отнестись без скуки, внимательно. . . Поэтому Олег знал, например, что компанію могут водить только люди с одинаковым количеством свободных денег, а у кого поменьше — проходи, братей, сторонкой, ибо никогда все равно не сольешься с кругом, автоматически попадая на жалкое второстепенное мѣсто, когда, нарушая благообразіе, придется вдруг, вспотѣв от униженія, попросить: «Володя, я тебѣ хочу сказать кое-что по секрету». Причем данный Володя уже читает на твоем лицѣ, в чем дѣло, и не желая бороться уже согласен заплатить, но едва замѣтно переглянулся уже с остальными, мол «опять начинается». Счастливый, не водись с невезучими, проходи стороной. Несчастный, не подходи к фартовику, каждое слово ваше горечь и упрек для другого, обида и подвох. . . Олег вдруг вырос, вдруг стал взрослым, едва у него раскрылись глаза на звѣриную жизнь, гдѣ каждый из-за малѣйшаго развлеченія, то ли бриджа, синема, или просто обѣда в меценатском домѣ, охотно бросит другого со всѣми его трагедіями и гдѣ удивительная частота всеобщих встрѣч свидѣтельствует только о том, что очень часто ни у кого из ловчил ничего не получилось на этот вечер, кромѣ кафе. Олег вдруг возмужал и, о чудо, отношенія его с товарищами вдруг улучшились, ибо он сумѣл отказаться от давняго постояннаго тайнаго упрека другим в безсердечности, поняв наконец почти до конца свое

безсердечіе собственное... Теперь он научился вдруг, деревенѣя и выкатывая грудь, быстро без сантиментальности прощаться и уходить или не подходить вовсе к компаніи, если чувствовал носом, что они уходят кутить. Усвоил нравы каменнаго вѣка и перестал ставить иных в неловкое положеніе ни проявленіем, ни требованіем жалости, ибо чувствовал наконец метафизическую невозможность другого неоскорбительно пожалѣть, глубокое униженіе, похожее лишь на злую обиду самому оказаться жалѣему... Что-то сухое, веселое, крѣпкое появилось в его обращеніи вмѣстѣ с безрукавками, моноклем и американской стрижкой наголо вокруг головы по краю куста-оазиса на верхушкѣ.

Не жду пощады и стыжусь ее оказывать... Всегда на войнѣ, всегда в лѣсу, всегда на чеку и на изготовкѣ и вдруг в Катиной комнатѣ глубокая безопасность, глубокое спокойствіе наполняли его; вѣчный поединок между ними вдруг прекращался, и Олег негаданно-нечаянно молодѣл, опускал плечи и говорил совсѣм другим, безыскусственным, не слышащим себя голосом вмѣсто вѣчно напряженнаго, дѣланно веселаго, чуть скрежещущаго голоса мучительства жизни.

Комната медленно темнѣла, тонучи в синевѣ сумерок и папироснаго дыма. На полу, на чемоданѣ еще валялись остатки канибальскаго пиршества: недоѣденная капуста в потемнѣвшей картонкѣ, пивной полуштоф, окурки. Они сидѣли на кровати рядом, низко, близко друг около друга. У Кати прошел припадок безпричинной сытой веселости и она молчала, неподвижно в профиль глядя поверх тусклой мѣдной рѣшетки кровати в окно, а там за окном шел тяжелый и безконечный осенній дождь. День быстро убывал, уже проституціон-

ное убожество отельной комнаты было почти невидимо. Свѣта не зажигали. Спокойно, отсутствующе, в оцѣпенѣніи счастья Олег смотрѣл, но Катя не поворачивалась, хотя было замѣтно, что она чувствует этот взгляд. Лицо ея с правильным почти греческим носом выражало какое-то счастливое мрачное смиреніе перед сумерками, дождем, бездѣліем и собственной порочностью. Над чуть припухшими вѣками начерченныя рѣсницы, как черные лучи, прямо, не загибаясь оттѣняли большіе, слегка коровьи глаза. Рот был широкій, с сильно выступающим подбородком и с чисто греческим великолѣпіем, от гладкаго невысокаго лба отступали темно коричневой волной блестящіе надушенные волосы. . . Запах этих дорогих и грубых духов прилипал ко всему, и ночью, пришедши домой и снимая рубашку, Олег с изумленіем находил его на плечѣ и воротѣ там, гдѣ прикасалась к нему тяжелая Катина голова. Голый и цѣломудренный в своем старом монашеском одиночествѣ, Олег с изумленіем нюхал рубашку, как будто не вѣрилось ему, что Катя дѣйствительно существовала.

Катя была не очень умна, во всяком случаѣ не умна на разговор, но обо всем без сложных доводов судила удивительно вѣрно и в немногих словах. Было в ея особом родѣ ума то драгоцѣнное, рѣдкое у русских качество, которое можно назвать чувством масштаба, и рѣдкая нелюбовь преувеличивать. Разсуждала она вообще, как играла на гитарѣ: тихо, спокойно, мрачно, дѣловито, чуть слышно напѣвая без особаго голоса, но с абсолютно точным слухом. Любила Толстого и Чехова, уставала от Достоевскаго, что всегда было для Олега доказательством хорошо поставленной головы. «Ты замѣтил ли, как то сказала она, Достоевскій никогда не

описывает природы, не видѣл вѣроятно лѣса, всю жизнь проговорив, а если улицу, то обязательно ночь и грязно». И Олег потом долго смѣялся, пораженный спокойной вѣрностью этого замѣчанія. Ибо все-таки она была погибшая дѣвушка. Как-то на другое утро Олег разбудил Катю около одиннадцати, вытащил ее, смѣющуюся и порозовѣвшую от холодной воды. Это было одиннадцатаго ноября в день перемирія. Условились они идти смотрѣть парад войск, но к одиннадцати часам он давно уже кончился, и только проходя по бульвару Монпарнасс видѣли они, как усталый, но в тяжелом порядкѣ, возвращался в казарму колоніалный полк в защитных шинелях. Первые ряды шли молодцевато, но задніе с французской безобидностью, добродушіем, не оставляющим их даже в арміи, перли не в ногу, почти в разброд за пулеметными повозками... Было рѣшено во всяком случаѣ пойти в Лувр или хотя бы в Люксембургскій музей по сосѣдству, но проходя мимо Катя вспомнила, что скоро надо будет обѣлада и жаренаго хлѣба, Катя вдруг заказала Манхатан praнie пустого днем кафе, цѣликом наполненнаго малиновыми отсвѣтами бархатных диванов. Послѣ шоколада и жеренаго хлѣба, Катя вдруг заказала Манхатан Коктейль, затѣм Вермут Касис и Куэнтро и они попросту тяжело, жалко, счастливо напились среди бѣла дня, смѣясь и ссорясь в пустом кафе на изумленіе гарсонов, в глазах которых Олегов кредит неожиданно возрос. Но платила за все Катя. Из кафе оставалось только идти домой. Олег оставив Катю в ресторанѣ напротив отеля, ибо она, пройдя желѣзную школу пьянства в колледжѣ, безупречно под хмѣлем владѣла собою, пошел нетвердо домой обѣдать исключительно из прили-

чія и классовой борьбы. Когда же он вернулся, Катя спала на кровати в уже полутемной комнатѣ, не сняв даже коричневой шубейки-дохи. Так и сейчас на лицѣ Кати, еще освѣщенном послѣдней голубизной дождя, явно можно было прочесть что-то опустившееся, неудачливое, рано растраченное, может-быть даже непоправимо утерянное; но вмѣстѣ с тѣм было на нем то особенное античное благообразіе сознательной неподвижности, гордо меланхолической обреченности самому себѣ и жизни, которая в глазах Олега только и придавала значительность движеніям людей и без которой они казались ему какими-то прыгающими мышами просвѣщенія.

Опять завертѣлось огненное колесо жизни... Между бритьем, походом и первыми счастливыми поцѣлуями под дождем... Была у Кати такая русская, неизвѣстно как передававшаяся монастырская повадка, когда Олег, низко склоняясь, цѣловал ей руку, цѣловать его в голову по архіерейски, почти по нянькински, и на дождѣ крѣпкія ея духи казались каким-то ненормальным весенним чудом, как запах сада, вдруг, снѣжною ночью, распустившагося в декабрѣ... Фонари горѣли ярко на снѣгу... Снѣг летѣл крупными хлопьями, и на длинныя бархатныя перчатки с кожаной обратицей, как лисья лапка, которыя Катя по послѣдней модѣ носила на номер больше своей руки, снѣжинки налетали и долго не таяли, красуясь на мѣховых эполетах ея простого англійскаго пальто, которое напослѣдок сам для нея выбрал и купил ея отец, красивый сѣдой господин с розовым лицом и золотыми зубами, весело притворно на людях ухаживающій за своей дочерью — хват, жила и толстый корень, вокруг котораго на семь

верст травѣ не расти... Дни летѣли за днями в нѣжном, снѣжном очарованіи почти цѣлых суток вмѣстѣ, когда, как будто потеряв счет времени, с откровенно цыганской отчаянной щедростью молодости и обезпеченности, Катя тратилась на Олега почти без остатка, вдруг перескочив через жадную свою хватскую природу, так-что оба не знали уже никогда, ни который час, ни вообще вечер ли или уж ночь на дворѣ и обѣдали ли они... Олег ничего не писал, даже к дневнику не прикасался или только, раскрыв его и бросив взгляд, сразу наткнувшись на безчисленныя «бѣлый жаркій день, как лошадь в гору, в поту печали» и т. д., смѣясь писал поперек страниц... Живу, живу, живу... Наконец живу...

И вот сегодня от непобѣдимаго, кокетливаго, вѣчно расшвыриваемаго здоровья Олега не осталось ничего... Сегодня в бѣлый ослѣпительный зимній день Олег вдруг проснулся на сто верст от поверхности жизни... Вчера он лег слишком поздно, говорил слишком много, как заведенный, и когда собесѣдников не осталось, продолжал истерически галдѣть у стойки кафе дю Дом, куда под-утро сползаются всякіе окончательно бывшіе люди. Там он находил себѣ послѣдних собесѣдников, каждый из которых уже по нѣсколько раз подвергался хозяйскому запрещенію «сервировать» — за неплатеж, хулигантство, попрошайничество; потом за давностью все это забывалось, и только жирный меланхолическій гарсон, с каким-то особым отсутствующим видом, наливал им, они же заискивали, хорохорились и всячески унижались, хотя нравы были скорѣе кроткіе, там были безпаспортные шофферы, лишеные бумаг, сутуловатый бродячій хиромант, шестипалый купец с золотоподоб-

ной цѣпочкой, длинноволосый художник, слышащій голоса, а перед кафе на тротуарѣ топтались неудачники еще горшей категоріи, узкоплечіе педерасты без признаков бѣлья, арабы и заросшіе бородой глубокомысленные пьяные старики, не рѣшающіеся даже подойти к стойкѣ. . . По негласному уговору с хозяином, из этого кафе, дабы оно по закону не утратило права на ночную торговлю, никого в участок не водили, волочили только немного по Делямбр, грандіозно давали по шеѣ и неописуемая личность, мигом протрезвѣв, скрывалась в сторону Эдгар Кинэ, чтобы, дав кругу, через полчаса снова появиться на бульварѣ. Олег прогалдѣл здѣсь с толсторожим славянскаго вида небритым Гамлетом в разбитых очках, поминутно оглашая воздух молодцеватой матерщиной, без которой послѣ извѣстной степени усталости и печали не мог связать двух фраз (исконная національная пунктуація, облегченіе и жалоба, обвиненіе всего на свѣтѣ), пролопотал до изнеможенія и полнаго, неохотнаго, зимняго разсвѣта и со слюной во рту, со звоном в ушах потащился к себѣ на Пляс Итали.

Дѣло в том, что они сильно поссорились с Катей утром из за совѣтской литературы, но в сущности, конечно, не из за этого. Не встрѣтились послѣ обѣда, а вечером на зло ему она засѣла играть в бридж со всей бандой, которая злобно привѣтствовала это появленіе, как признак скораго заката Олеговой звѣзды, потому-что так уж и повелось в этом мірозданіи кончаться романам, а именно насупленной актерской игрой в бридж одного из мелодекламаторов и унизительным злым дежурством другого за сосѣдним столиком, усиленно и тѣм болѣе неудачно старающагося держать себя как

ни в чем ни бывало... И только в час, когда Олег, перемучившись, переждав до чернаго отвращенія, пересердившись, мрачно упорно курил обгорѣлыми губами, все-таки выдерживая фасон и не спускаясь вниз, гдѣ повадились картежники кретинизироваться, она, как мифологическое видѣніе, высокогрудое, бѣлорукое и щурящееся отъ смѣха, появилась вдруг на ступеньках лѣстницы и, слегка раскачиваясь и нарочито и очаровательно двигая бедрами, прошлась между столиками, а за ней, как тритоны и прочая тяжелая мокрая морская ерунда, полѣзли ненавистныя Олегу литературныя личности конкурирующей эстетно славянофильской банды... Смотря на них, Олег злорадно подумал о том, как багорѣет и уродуется человѣк от долгаго смѣха, как платье его сдвигается со своих осей, губы распухают, руки наливаются кровью... Красиво, легко, гнусно двигая боками, Катя приближалась к его столу... Тритоны, моржи, тюлени окружали ее, рыча, дуя, плюясь, куря, фальшивя, поправляя отсиженные штаны ... На минуту сердце Олегово остановилось, все превративши в отчаянную мольбу, молитву, чтобы она замѣтила его, остановилась, присѣла подлѣ, но когда он уже все считал потерянным, она вдруг, сдѣлав скромное лицо, сиданула на самый краешек стула в то время, как ея мифологическая свита, неохотно, принужденно начала с ним здороваться, вдруг забурлив, отступив, опѣшив, не сумѣв таки удержать волшебницу от ненавистнаго похитителя... Но едва Катя исполнила нѣмую Олегову просьбу, тотчас же вспомнил он желѣзный закон недобрых их отношеній, закон Линча всякой русской любви, тотчас же окаменѣл, оледенѣл, отвернулся в сторону, гдѣ стояли гарсоны, несомый неестественной храб-

ростью ожесточенія, подозвал одного из них, заплатил, нарочно передав чаевых, и не прощаясь, как часто дѣлал, отчалил на металлических ногах-пружинах, плохо соображая направленіе... Перешел на другую сторону бульвара Распай и там около аляповатаго ресторана забился в тревогѣ отчаянія, сомнѣнія, нерѣшительности, закочевал по кварталу, не зная уже, не вернуться ли, во всяком случаѣ совершенно потеряв возможность идти домой...

Проснувшись, Олег долго не мог встать... Вчерашнее словесное изступленіе смѣнилось совершенным упадком сил и какой-то давно неиспытанной хрупкостью, стеклянностью во всем тѣлѣ... Трудно было поднять руки; хотя отлежанныя на жестком ложѣ, онѣ болѣли и чесались... Но кромѣ того Олег не совсѣм соображал, гдѣ он и почему нѣт Безобразова в комнатѣ, настолько все теперешнее, грубое, яркое, постыдно тяжелое, отошло от него за тридевять земель, и этой давно позабытой им стеклянной хрупкой физіологіи невольно в его больном мозгу соотвѣтствовали совсѣм другіе годы, другія лица... Новая его жизнь, постыдно напряженная, отраженіе его новаго полнокровья, здоровья, исчезла куда-то, унесенная, смытая переутомленіем, и как во время раскопок под современным городом жестянок обнаруживается другой город, средневѣковый, а под ним третій, античный, четвертый, эгейскій, пятый неолитическій, и как должно-быть реставратор смывает яркую лубочную икону, и под ней открывает другую, зелено фіолетовую, Рублевскую—Богоро-

дицы, как наводненіе, смывая песок, обнажает циклопическія стѣны, так и сейчас чувствовал он снова в себѣ нѣкую снѣжную душу, еле живую, сумеречно цѣпенѣющую в вѣнкѣ из воска при приближеніи перваго горестнаго столкновенія с жизнью, душу, которой вовсе уже не умѣститься, не отразиться в новой его тяжелой, пьяной от скопленой крови физіологіи. . . Но сколько их было, этих душ, и Олег куря папиросу в кровати вспоминает. . .

Вот она стоит неподвижно на углу, без друзей, без единаго знакомаго, без приличнаго платья, узкоплечая, невыразимо покорно смотрящая на четырехчасовое зимнее небо, уже готовой распасться снѣгом, разлетѣться, осыпаться снѣжинками. В вѣнкѣ из воска и мокрыми ногами только что обошедшая всѣх своих пріятелей-презрителей, поднявшаяся на четыре лѣстницы и никого не заставшая дома. Душа, которой некуда, совершенно некуда дѣться. . . А возвращаться домой в отель «Босежур», в желтый пыльный свѣт под потолком. . . Лучше головой о мостовую, лучше ходить весь вечер. Сумрачно по зимнему синѣли подворотни домов, люди спѣшили, охраняя свои свертки. Но Олег уже объѣлся шоколаду до тошноты, истратив на него всѣ деньги, от тоски то и дѣло заходя в булочную и покупая конфекты по сорок сантимов. . . Холодно, неподвижно придерживая тающій вѣнок из воска, цѣпенѣла пьяная от одиночества душа, смотря на медленно и неуклюже, как брови, опускающійся вечер, повернувшись спиною к своему отелю. Ярко, предпразднично печально сквозь рѣдскій снѣг звенѣли трамваи теперь уже уничтоженнаго восемьдесят второго номера. . . Улица пустѣла и вдруг среди тьмы отчаянья яркая мысль: «но вѣдь сей-

час уже больше семи часов, пока дойду до Глясьер, до русской столовой, будет восемь... Поѣм каши и пойду в кинематограф»...

Вторая душа, которую вспомнил Олег, любила рано, часто до разсвѣта, подняться с кровати... Эта душа еще ничего не знала о спортѣ, о усиліи, сутулая и узкоплечая и большеглазая, она любила в чистом и пустом разсвѣтном городѣ слушать соловьев, которые не спѣша привольно тренькали, скулили, ворковали за высокой стѣной католическаго монастыря, маленькія и высокомѣрныя птицы, вѣрныя своим стотысячелѣтним ритмам... Туманно синѣла лоснящаяся мостовая, а вдали корпуса строящихся домов казались античными крѣпостями из розоваго мрамора, над которыми маленькой перламутровой раковиной луна тонула в разсьѣтной голубизнѣ неба; что-то таинственное, омытое свѣжестью лѣсов, источников, пещер, было в этом неторопливом воркованіи... Потом солнце всходило не спѣша, проѣзжали зеленые грузовики для поливанія улиц, шурша широким водным вѣером. Первые трамваи шли, отражая солнечные лучи, и только что проснувшіеся задорно звонко звенѣли своими звонками. Пыль поднималась от грузовиков с цементом, и теперь уже нужно было далеко идти на край города на городскія укрѣпленія, чтобы снова найти лѣтнюю тишину, медленный звон аэроплана, как бы остановившагося в воздухѣ, кладбище старых вагонов, гдѣ не спѣша маневрирует низкій товарный паровоз старой конструкціи... Эта душа, прятавшаяся в разсвѣтах, предмѣст-

ях, солнечных пустырях, уже не была так беззащитна, как первая... Что-то грустно античное, меланхолически стоическое было в ея худых плечах и больших неподвижных темно-сѣрых глазах, но и она исчезла, уступивши солнечно неподвижному, угрожающе прекрасному, насквозь мужественному міру Апполона Безобразова.

Как это было давно, как будто совсѣм другіе люди, молодые люди в различных демисезонах и всѣ они Я, худые, широкоплечіе, с красной, распухшей от жары рожей, с тонкими, бѣлыми, покрытыми испариной усталости, в изнеможеніи ложившимися на бумагу, с широкими и грязными, налитыми кровью руками, отдавленными гирями, с широкой скуластой небритой мордой, ищущей, кому бы показать кузькину мать, и еще другіе молодые люди, плачущіе в церквах, в слезах, в отчаяньи вѣры лежащіе ничком на полу, играющіе в карты, разсматривающіе свой орган в зеркало, или на улицѣ пыжащіе свои плечи перед зеркалами, супящіе брови, выпячивающіе нижнюю губу, наглые, пьяные, заискивающіе, гордые, молчаливые, болтливые, обезумѣвшіе от злобы, умирающіе от страха перед кондуктором и это все я... Я... Я... воистину не я живу, а живут во мнѣ души, а я только склад старых декорацій, слов разнаго происхожденія, улыбок — различных, давно сошедших со сцены персонажей.

А вот еще одна душа совсѣм в другом родѣ... С моноклем, с бахромою на штанах, с пороком сердца и с порочным сердцем, идет, лукаво радуясь, луна оставлена Лафоргом ей в наслѣдство... Душа 1925 года.

Розовый жар неподвижнаго городского заката, скука, испарина, боль в сердцѣ, а на углу, с ночным горш-

ком на головѣ, пляшет неизвѣстный человѣк, а вокруг, как бабочки грѣхов, рѣют в воздухѣ листки его стихов. . .

Слабость, слабость с утра, грязныя натруженныя ноги, галстук с горошиной, позднее вставаніе, насмѣшка над парком, над солнечным днем. . . Ночью в кафе, среди табачной гари, сквозь ледяное окно монокля блестящее, зловѣщее ошалѣніе остроумія, выдумки, баснословные разсказы. . . Ниспроверженіе всего, утвержденіе чего попало, великолѣпное презрѣніе к послѣдовательности и стихи изо всѣх карманов. . . В сортирѣ в Ротондѣ сочинительство карандашем на двери, пальцем на зеркалѣ, на почтѣ на телеграфном бланкѣ и с невозмутимым видом на улицѣ на корешкѣ газеты и вѣчное злое остервенѣніе, полет, пареніе зловѣщаго юмора, усталость с утра, нечистоплотная ѣда, стоя или на ходу, прямо руками. . .

А завтра, снова выйдя к вечеру на улицу, огромная тяжелая лѣтняя луна, низко плывущая над крышами, тяжелая музыкальная истома нескончаемаго дня, еще разлитая во всем, раскрытыя ворота, натруженныя за день промежности в брюках без кальсон, воскресным вечером хриплое пѣніе пьяных солдат, и в каждом огнѣ за каждым фонарем улыбающійся дух преисподней, мертвец, скелет, полуженщина-полуполицейскій, огромный клоп, играющій на рояли. . . Из черной воды бѣлыя ноги, красныя головы утопленников, дребезжаніе автоматическаго рояля, запах мочи и первое шуршаніе рано сгорѣвших листьев под стоптанным башмаком. . . Тупая, мучительно пріятная боль в сердцѣ, волны испарины . . . Вкус пива, запах ладана, сѣна, церкви, спермы, кухмистерской и над всѣм этим еще раз ог-

ромная ошалѣлая луна-богиня воды и сумасшествія, ослѣпительная, физически ощутимая в водѣ, в тѣлѣ, на землѣ, на руках, во всем. Невнятный голос с бульвара.

Ослѣпительный луч в комнатѣ, я уже не сплю, но зачѣм вставать, мнѣ 25 лѣт... Как это было давно, давно, как это все было, было, было...

Ночь, улицы опустѣли, свинцовая тяжесть во всем тѣлѣ... Икаю... Качаюсь. Ах все равно, имѣли, имѣли они меня, кто, всѣ, весь мір, и вдруг разом мордой о скамейку... Пускай могила меня накажет...

Из-за чего собственно они поссорились. Конечно не из-за совѣтской литературы, а из-за Слоноходова... Слоноходов, широкоплечій, тяжелодумный красавец, разслабленный богатырь, евразіец, закрывая широкой ладонью свой идеально греческій подбородок, разсказал ему, что Катя, долго походив вокруг да около, не так давно прямо предложила..... и что он было принялся за дѣло, но на серединѣ сочиненія ея желтые неровные зубы и общая нервная атмосфера произвели на него тягостное впечатлѣніе, и он, не довершив дѣла, бросил ее на произвол судьбы, но не это в точности, а фраза Кати брошенная как бы мимоходом: «Вы знаете, Олег в меня сильно влюблен, что мнѣ с ним дѣлать».

Исконно дьявол ходил за пустыножителями, девять за послушником, девяносто за настоящим чернецом... Но точно так же святые преслѣдуют грѣшников, как

больная совѣсть человѣчество. . . . . так Аполлону Безобразову навязчиво снились душераздирающіе небесные сны. Бог меня преслѣдует, скажет он однажды Олегу, с видом потеряннаго человѣка. . .

Олег теперь опять встрѣчался с Безобразовым. . . Любил оный назначать свиданія всегда в различных новых кафе с неожиданными нравами. Воскресным весенним вечером они встрѣтились на Бульвар Себастополь в желтой, ярко выкрашенной пивной, гдѣ оглушительно шумѣл самодѣльный окрестр. Прямо смотря перед собою в зеркало, упершись в свое отраженіе и наслаждаясь его неказистостью, вѣчным инкогнито своим, Аполлон слушал невѣроятно, необычайно фантастически врущую гармонику. Остальные музыканты играли средне, но она, вводя в «Хоту» самостоятельную вставную музыкальную фразу против такта, поднималась до такого свинячаго, чертячаго, адскаго визга, чт казалось она дѣлала это нарочно. . . С остановившимся багровым лицом, окаменѣв от напряженія, гармонист колдовал над своей раздвинутой колдобиной, тренькал, бубнил, гугнявил, верещал и казалось был совершенно глух. . .

Гармоника выла. . . О чем выла гармонь та. . . Улица слабо шумѣла. . . О чем шуршала улица . . Неслышно шевеля губами, говорили люди. . . О чем они спорили. . . Аполлон Безобразоь молча, упорно смотрѣл на свое визави, отраженіе в зеркалѣ. О чем он думал. . . Отраженіе высокомѣрно угрюмо смотрѣло на него, но что оно видѣло стеклянными глазами, различало не видючи. . . Олег, как глухонѣмой демон, за шумом музыки, за рѣзким блеском дешевых ламп судорожно жестикулировал стаканом, спичками, бровя-

ми напрягал мускулы, сопѣл, раздувал ноздри, Аполлон рядом с ним казался человѣком другой расы и даже удивитльно было, о чем они могли говорить...

Олег разсказыла Безобразобву о Татьянѣ, Катѣ, совокупленіи полов, классовой борьбѣ, законѣ Линча. Но о чем думало зеркало его, отраженное в зеркалѣ зеркала. — Зеркало болтая повторяло лицо, но лицо теряло в зеркалѣ смысл, ища его в нем... Зеркало повторяло безсмыслицу лица, ищущаго в зеркалѣ смысла, стола, лампы, но не повторяло музыки, и поэтому неповторенная музыка становилась неповторимой. Аполлон в зеркалѣ и Аполлон на берегу зеркала казались тождественными, но Олег, Олег зеркальный отличался от Олега, говорящаго в залѣ, потому-что зеркало не повторяло звука, и снова они оказывались тождественными, потому еще что звука этого за музыкой не было вовсе слышно. Олег до боли кричал в сплошном визгѣ гармоники, но даже сам не всегда слышал себя, и поэтому Олег говорящій был равен Олегу не говорящему и оба они подобны были Олегу зеркальному, не могущему говорить. Но о чем думал Безобразов... Ровно о том же, о чем верещала музыка, ни о чем и обо всем вмѣстѣ, в точности о чем попало, с той разницей, что музыка отчаянно была мимо цѣли, а он сознательно отрицал ее... И так цѣлый вечер Олег жесткулирует, музыка орет... Олег молчит говоря... Музыка звуча не относится к дѣлу, а Аполлон неподвижно смотрит на свое отраженіе...

Смотри, Безобразов, как безконечно неожиданно, так неожиданно богата форма каждаго камня, взвѣсь его, возьми его в руки. Не бойся сдѣлать усиліе. Видишь теперь, как его, горячаго, горячо любит земля, не позволяя ни на мгновеніе оторваться от своего живота. И не потому ли так лелѣешь ты и нагоняешь свои тяжелыя руки, чтобы разлучать любимаго и любимую, хоть и ненадолго, подобно Гильгамешу, на котораго разгнѣвались боги за то, что он разлучал возлюбленных, заставляя их строить стѣны крѣпкосданных городов.

Прильни лицом к хвойному жару земли и слушай, ты ничего не услышишь, а там трудится подземный жар, текут раскаленныя рѣки, это, напрягши слух и забывшись, может-быть услышишь ты, как маленькая и упорная птица дѣловито печально, солнечно настойчиво выкрикивает всю свою тайну. И снова постигаешь ты, что сущность всѣх вещей находится на самой поверхности не за вещами и некуда за нею уходить. Раскрой ладонь и поцѣлуй ее; не внутри, между костями и кровью, раскрывается тѣло, а в золотой откровенности своей, в кожѣ. Кожа есть откровеніе тѣла, усталости, счастья, здоровья, страха, порока, вожделѣнія, и нѣт ничего глубже кожи. Цѣлуй горячую кожу, земли, гладь ее, нюхай и пробуй на вкус. Не под кожей, а в ея обнаженности раскрывается душа земли, и нѣт ничего глубже поверхности. Но чѣм была бы кожа без зрителя своего, не царапает ли себя от отвращенія запоздалая дѣвственница, не знавшая мужа, так вот и вся красота міра радуется своему зрѣнію, как оно ей. Смотри, Безобразов, земля легко выносит тебя, как огромное дерево легко выносит птицу, ситуирующую,

раскрывающую, подчеркивающую его величину сказочным отдаленіем своего полуденнаго пѣнія. Ты и земля хорошо понимают друг друга и потому так ровно дышит грудь, как будто и нѣт дыханія, так спокойно бьется сердце, как будто отсутствует вовсе. Вещь сама себя видит в тебѣ и сама себя в тебѣ находит прекрасной. Ты зеркало мірового тепла, ставшаго вещами, и ровно спокойно, безо всякой мути разстилается оно перед тобою, как перед голубым лицом міра. Добродѣтель же зеркала есть и твоя добродѣтель: все отражать, всюду присутствовать, терять себя, теряться в зеркалѣ зрѣнія, непоколебимо не дрогнув встрѣчать ослѣпительные человѣческіе глаза. Так встрѣтился ты и, почти не дрогнув, отразил тяжелые Татьянины глаза, и только на мгновеніе зарябила поверхность, разошлась чуть видными кругами, полосами, лучами, и снова расправилась. Нѣт, Аполлон, ты не найдешь Бога в человѣкѣ, пока не полюбишь в человѣкѣ Бога. Все личное кажется тебѣ неприлично-назойливо привязанным к самому себѣ, больше всего обреченным самому себѣ, обязанным благородством игры защищать свою неповторимость, и поэтому неприлично бояться смерти. Зрѣніе же одного полдневнаго зрителя есть продолженіе зрѣнія другого, если это хорошее зрѣніе и он умѣет забыть себя, забыться в зримом, самодовлѣющем совершенствѣ зримаго. Но ты устал, Безобразов. Ты незамѣтно для себя смертельно устал торжествовать, устал видѣть, устал быть виденным. Так самый яркій час недалек от перваго вечерняго сумрака, а ночью исчезает и зритель и зримое, и только звѣзды и горячія живыя сердца, неподвижно кипят в своей ненасытной жаждѣ счастья. Потеряв жажду, ты ее по-

терял, эту вездѣсущую ночную жизнь, Аполлон, ты теперь самый поверхностный человѣк в мірозданіи, потому-что жажда и боль его глубина, а тебѣ не больно.

В концѣ вечера получается слѣдующій результат уравненія: Олег измучен, но доволен (Аполлон де во всем с ним согласился), Аполлон доволен (Олег просто не смог разрушить этого довольства, принесеннаго им с улицы), музыкант доволен (его выслушали), публика довольна (он кончил)... Олег говорил о себѣ, Аполлон говорил: «да» и «конечно»... В общем наговорился, переговорил и договорились.

Как нынѣ сбирается вѣщій Олег... зловѣщій... Осоловѣвшій... Олег идет по бульвару... Переговорили и договорились. Впрочем говорил больше я... Опять он у меня выскользнул из рук... Величествен, но однообразен, утомительно совершенен... Погоди, найдет и на него баба лягавая: Monsieur Personne cherche Madame Personne. Хотѣл бы я видѣть... Ах душа, когда же ты наконец посмѣешь быть как он, огромной, высокомѣрной, зловѣщей, вѣщей, увидишь наконец безчеловѣчное величіе вещей... Их необычайную законченность, их святую обреченность своей единственной формѣ, их святую глупость и безполезность внѣ ея. Их абсолютную обреченность своему назначенію.

Аполлон не отвѣчал, и все-таки для Олега разговор был. Он почти не слушал, и все-таки Олегу было больно, потому-что слова, падая в омут Безобразовщины, слабѣя, теряя вѣс, замолкали с особым жалобным зву-

ком. . . Они обезвѣчивались, теряли убѣдительность и вѣс. , . Нѣт, они даже не глохли, ибо Аполлон Безобразов не был вовсе средой безъ отзвука, наподобіе юмористов, растраченных, дезэлектризованных полулюдей; нѣт, звук иногда даже усиливался, но как-то искривлялся, попадая в его атмосферу, вытягивался, раздувался, как человѣк, на лету, во снѣ мѣняющій форму, теряющій голову. Слова на лету мѣняли значеніе, безопасныя, смѣшныя становились страшными, угрожающими (слова о полѣ), счастливыя—печальными (слова о небѣ, о силѣ, о разумѣ), новыя—древними (всѣ слова вообще). . . Аполлон не отвѣчал, но на носу его был написан отвѣт. . . И Олег вдруг глох, смущался, падал куда-то, стыдился неприличной неважности, суетливой трагичности своих слов. Особое мученіе неподвижности, как магнитная аномалія, окружало его, все теряло силу и цвѣт, так-что Олегу казалось, что даже вещи, на которых случайно останавливались Безобразовы глаза, сначала чувствовали смутную тяжесть, неловкость, наконец начинали явственно шевелиться, корчиться под его взглядом. . . Напримѣр, круасан в своей корзинкѣ: только-что Олегу показалось, что он начал дрожать, едва Аполлон в него уперся взглядом, и вдруг судорожно зашевелился, как будто он взглядом этим выжимал из хлѣба живую душу. . . Ты в живых людях видишь насквозь, то-есть одни скелеты. . . Что же дѣлать, скелет всегда интересен. L'homme est bavard, toute squelette toujours élégante.

4*

О одиночество, ты всегда со мною, как болѣзнь сердца, которой не помнишь, которую не чувствуешь, и вдруг останавливается дыханіе, как одиночная камера, что всюду ношу с собою... Глухонѣмота... Безпамятство... Неграмотность. Один на бульварѣ, не помнящій родства, останавливаюсь, ослѣпленный своим богатством... Свободен, совершенно свободен пойти направо или налѣво, остаться на мѣстѣ, закурить, вернуться домой и лечь спать, посреди дня или среди дня пойти в кинематограф, мигом из дня в ночь, в подземное царство звуковых тѣней. Ах, наказанье, каторга, рай, наслажденіе, награда, и снова Олег смѣялся над своим народом, не додумавшимся до одиночества, иначе как подпольнаго, страдающаго и вынужденнаго, не дошедшим до индивидуализаціи. Один, Один, Один. Свободен, как лев в пустынѣ, лев вегетаріанец, но кто он... Студент... Нѣт, Олег провалился на первом же экзаменѣ, о позор, на сочиненіи о Гоголѣ... Писатель..., Да, в отхожем мѣстѣ, пальцем на стѣнѣ, в мечтах, в дневниках, в отрывках без головы ни хвоста... Монах с грязными ногами и наодеколоненной головой. Пролетарій, нѣт, безработный буржуй, нѣт, нищій идеолог буржуазіи... Бездѣльник... Нѣт, Олег цѣлый день занят чѣм-то... Философ... Но вѣдь он ни единой книги не дочитал до конца... Дурак... Нѣт, потому-что ему всегда казалось, что это он сам мог написать... Никто... Никого... Ничто..: Никакого народа... Никакого соціальнаго происхожденія... Политической партіи, вѣроисповѣданія... И вмѣстѣ с тѣм какая неповторимая русская морда, с безформенным носом, одутловатыми щеками, толстыми губами... Но вдруг нос становится тоньше, губы уже и саркастиче-

скій, спокойный, презрительный Аполлон-Безобразовскій свѣт падает на лицо. Что-то дьявольское, дальнее, монастырское, небожительское просвѣчивает сквозь него. . . С холодным удивленіем, вдруг, будто проснувшись, всматривается он в окружающее, но сейчас ему уже далеко до дивной аскетической неподвижности этого метафизическаго бандита, да кстати гдѣ он, этот герой без единаго приключенія. . . Совершенно неизвѣстно, и уж если Безобразов исчезнет, то хоть живи в сосѣднем домѣ цѣлая армія товарищей, его не разыщут. Потом Безобразов это всѣ и никто, и может он уже перемѣнил свою фамилію и искренно считает себя французом.

Олег идет по авеню де л'Обсерватуар к Итали и с удивленіем понимает, что Катя всего этого не знает... Ничего неземного, неподкупнаго, ледяного в ней нѣт; как красивое бѣлое животное, грустное и спокойное, Катя всегда и за всѣм видит землю. . . Она удивляется, почему Безобразов не работает, почему у всѣх нѣт денег, почему Олег не сдает экзаменов на шоффера такси.

Вот у тебя какая линія жизни, ты до девяноста лѣт проживешь и успѣешь написать девяносто книг. . . У нея есть деньги, но работа для нея благодать, побѣда над сном, над пьянством и мертвой печалью. . . Она теперь мечтает открыть модную мастерскую.

Будем работать, Олег. . . Будем жить, жить, жить. . . А потом бросим их всѣх, уѣдем в Россію, куда-нибудь на Урал, на завод, за которым сразу лѣсная пустыня, магнитныя скалы. . . Будем ходить рваные. . . Хорошо. . . Среди равных. . . Научимся говорить на блатном кучерявом зощенковском жаргонѣ. . . Ах Россія,

Россія... Домой с небес... Домой из книг, из слов, из кабацкаго испитого высокомѣрія. И Олег говорил: да, Катя... И глаза его зажигались, как зажигались они от всего, от музыки, от вина или же от уличной драки. Но дальній спокойный ироническій голос Аполлона Безобразова говорил в нем.

В. С. Яновскій.

ЕЕ ЗВАЛИ РОССІЯ.

Я выучил у ржавых буферов,
Когда они Урал пересѣкали,
Такую музыку без слов,
Которая сильнѣй печали.

Н. Оцуп.

Вагоны шли, стуча, звеня, шатаясь.

Сцѣпленія гремѣли то натягиваясь, то свѣшиваясь узлами на путь. Бронированныя площадки были усыпаны опилками, пустыми ящиками; как падаль, были разбросаны полтора-дюймовки. В раздвинутыя двери теплушек глядѣли щиты пулеметов и темным глазом щупали степь — зѣвал дул.

Паровоз кричал. Уныло, зло. Он устал. Он очень устал. Как обиженная болью корова, мычал он: У-у-у-у. . .

Только время от времени он ронял в ночь вмѣстѣ с хвостом дыма, трубой искр, — яростный, мощный рев. Трясясь, шипя от ярости и гнѣва, он вдруг ревѣл свирѣпо и жестоко. И тогда сидящие на тендерѣ солдаты чувствовали, что у него желѣзная глотка, чугунныя легкіе и стальной язык. Но снова устало скрипѣл паровоз, трясясь и злобно мыча.

На тендерѣ говорили о том, что все уже сжимается кольцо партизан, что уголь и воду все труднѣе доста-

вать, что комендант не сегодня-завтра спятит с ума, — на остановках, злой, он ищет зачѣм-то грязных дѣвок; а артиллерійскій поручик, боится заснуть, боится даже нюхать эфир, — так как комендант в него стрѣляет, ревнуя к Зинаидѣ.

Машинист предлагал пробиться к красным; кочегар уговаривал уйти в партизаны, назначить матроса атаманом.

В командном вагонѣ играли в карты. Играли вяло, скучно: деньги потеряли свое значеніе. В замкнутом, отрѣзанном кольцѣ ходил бронепоѣзд. Деньги не имѣли цѣны. Играл умѣло, со вкусом, только один матрос. Случайно как-то на полустанкѣ он лихо вскочил на площадку, заговорил прибаутками, да так и остался... Один матрос все обыгрывал, да обыгрывал, сыпя шутками и пословицами. Бывалый человѣк.

Зинаида — растрепанная женщина с темным землистым лицом, — нелѣпо вывернув шею, напряженно застыла: вот уже цѣлое мгновеніе она не может вспомнить, — комендант ея муж или поручик? . .

Вздрагивая, хромая, бродит из угла в угол артиллерійскій поручик. Он идет и спит. Вздрогнет, отскочит в сторону, одним пріоткрытым глазом обѣжит играющих: подпѣвающаго матроса, коменданта на койкѣ. . . и снова, качаясь и вздрагивая, задремлет на ходу. Он боится заснуть. Он боится коменданта.

Бережно поглаживая рукой маузер, комендант лежит, полуприкрытый грязным, исподним бѣльем, в своем углу, внимательно слѣдя за прихрамывающим поручиком: тот пройдет налѣво, голова коменданта — взлохмоченная, опухшая, удивленная — налѣво; поручик направо, и голова коменданта поворачивает на-

право. Когда поручик, пересѣкая вагон, приближается к Зинаидѣ, лицо коменданта подергивается не то гримасой, не то усмѣшкой.

Время от времени комендант вдруг безпокойно ерзает, начинает приподнимать маузер: он видит двух поручиков. Он знает: один — это отраженье большого зеркала. Но какой?

Вот они одновременно подносят к лицу изогнутую кисть правой руки с оттопыренным толстым пальцем. Жадно припадают, нюхают, лижут ямочку у сгиба, тщетно стараясь вспомнить запах давно вышедшаго кокаина.

Бережно уставив револьвер в одного из поручиков, комендант нажимает гашетку. Выстрѣла он не слышит. Только благодаря вздрогнувшей Зинаидѣ он знает, что стрѣлял. Все остается по прежнему. Вѣроятно, стрѣлял в зеркало. Тогда он переводит дуло на второго поручика. Тот срывается с мѣста и скрывается в купэ.

— Хе-хе-хе, — шепчет комендант.

И, осторожно намочив круг полотенца эфиром, бросает его себѣ на лицо; прикрѣпляет узлом на затылкѣ.

Удушлив, тяжек, неимовѣрно страшен первый глоток эфира, но уже на самом днѣ себя таит он освобожденіе, превращеніе.

Теперь поручик в безопасности.

Комендант видит:

Пустыня. Волнами лежат пески. Ночь. Луна, как ядро: раскаленное, зловѣщее. Она безпокоит, зовет, сводит с тропы. Комендант и туркмен стоят, судорожно вытянув руки к лунѣ... На камнях древняго разру-

шеннаго храма танцуют змѣи. Сотни, тысячи, тьма... Цѣлая площадь усѣяна острыми, мускулистыми тѣлами. Став на хвосты, он мѣрно, вкрадчиво раскачиваются; их пляшущія жала молитвенно тянутся вверх, к лунѣ...

Вдруг комендант слышит тихій благовѣст. Так звонят только бубенцы с языками из человѣческих костей на шеѣ верблюдов.

Комендант с туркменом ложатся на землю.

Идут верблюды, Тощіе, темные, горбатые — они безшумно пробѣгают. Только, если пристально вглядѣться, можно замѣтить людскія фигуры, припавшія к горбам. То — трупы. Высохшіе, обуглившіеся скелеты.

Вдруг туркмен подпрыгивает и, приложившись к карабину, диким криком прорѣзывает воздух:

— Чума!

Отставив ногу, не цѣлясь, он кричит и стрѣляет в упор, по молчаливо пробѣгающему каравану. Караван медленно исчезает. Нѣсколько верблюдов падает. Тяжко бьются о землю; потом стихают со вздохом.

Караван уходит к Россіи.

— Чума! — кричит туркмен и стрѣляет в песчанную даль.

Поѣзд бѣжит. Звенят буфера на спусках. В машинном спорят. Кочегар увѣряет, что люди Бога забыли, осатанѣли, оттого кровью исходят: время такое нашло.

Из штундистов он.

А старик артиллерист брезгливо отмахивается, язвит, усмѣхается. Он доказывает, что все это было и будет: всѣ кровь лили.

— Одно всегда время. Одно, — вѣщает он. Потом, повернув лицо к окну, медленно произносит, словно сплевывает: — Кто бабьей крови не проливал?! ..

Солдаты вздыхают. Уныло глядят на черную, непокорную землю.

В древнем спорѣ, бьются с дорогой колеса. Рвут в клочья пространства. Звѣрем набрасываются на разсвѣтающій путь, глотают, давясь и урча. Непокорной, сѣрой лежит земля.

— И сон же, — улыбается комендант, очнувшись и любезно начинает разсказывать.

— Верблюды чумные были — замѣчает Зинаида. — Источники заразили... А змѣй не было.

— Были верблюды? — поражается комендант.

— Да, когда мы на Хиву уходили.

— На Хиву? — переспрашивает удивленно комендант. — Но сейчас мы на бронепоздѣ... Ищем своих? — молит, выпытывает он.

— И змѣи были! — весело подсказывает поручик. — Змѣи завтра были.

— Завтра? — повторяет комендант и кивает удовлетворенно головой: он понял...

На полустанках, гдѣ запасаются водой солдаты, неохотно подходят к станкам. Старик артиллерист бѣжит к коменданту.

— Во снѣ или на яву? — спрашивает комендант, водя своими красными, гнойными глазами.

— На яву, — убѣждает старик.

— Дѣйствуй, — и свѣсив босыя, желтыя ноги, комендант натягивает брюки и, держась руками за перегородки, выходит, шатаясь, из своего купэ.

Если огонь становится слишком настойчивым, ма-

шинист дает заднiй ход и ведет состав обратно: ночью он вернется и перейдет на другой путь. . . Не радостно поют колеса.

Небо в росистые, разсвѣтные часы кажется неопрятной постелью. Перинами без наловок взбиты тучи. А с края, как насосавшаяся кровью вошь — встает багровое солнце.

Ухмыляясь комендант подходит к пулемету, берется за ручки, подымает жерло вверх: в небо, в солнце... пускает по цѣпи.

— Та-та-та. . . вѣрно и радостно зачинает машина.
— Заразу! Душу! Мать! — вторит комендант.

Неувѣренно улыбаясь. солдаты продолжают стрѣлять. Издали бронепоѣзд тогда выглядит внушительно: лязгая, в дыму и искрах, он ходит взад и вперед на малом отрѣзѣ, выбрасывая предпослѣднiе заряды в низко нависшее небо.

Лунной ночью набирая воду, солдаты замѣтили на площадкѣ старинаго, разрушеннаго строенья сонмы гадов. Став на хвосты, они медленно и вкрадчиво плясали, завороженно глядя на луну.

— Мои змѣи. Вот мои змѣи! — возбужденно потирал руки комендант.

— Почему ж твои? — удивилась Зинаида.

— Да из сна! — волнуется он.

— Какого сна?

— Да, разсказывал же! Верблюды еще чумные? — блѣднѣет комендант.

— Это было во снѣ, — объясняет поручик. . .

Захватив на вокзалѣ нѣсколько ящиков со снарядами, воду, уголь, поѣзд перешел на другой путь.

Комендант торопливо укладывается с Зинаидой на койку.

Ея запрокинутая голова тянется к окну. Она видит яркія звѣзды, на синем бархатѣ неба. Неподвижно, под твердый стук колес, она думает, что и в ином мірѣ не забудет: вот это глубокое небо и эти влажныя звѣзды — высоко; и себя вот так внизу и чужого человѣка, изшедшим бугаем припавшаго к темной подушкѣ рядом.

— А в полѣ сейчас хорошо, — шепчет она.

— Не уйдешь! Сейчас уж не уйдешь! — наклоняется над ней вдруг комендант и взгляд его становится осмысленным, торжествующим и жестоким. — Сейчас уж не уйдешь! . . . — Но через минуту он снова впадает в полубред.

Он повторяет на всѣ лады одно слово. Он забыл, что оно означает. Оно написано на потолкѣ его купэ — жирным, химическим карандашом. Размашистый, неровный почерк. . .

— Брест-Литовск, Брест-Литовск, — завороженно повторяет комендант.

На разъѣздных мостах стоят теплушки. Шумит рѣка ночным шумом.

— Буг-Бог-Буг.

Это генерал Гофман стучит подкованным сапогом в отвѣт на пространную рѣчь; и близко наклонившись к австрійцу-канцлеру, Іоффе просительно и упрямо шепчет: — Все-таки нам удастся. . . А на лбу его не дымится мѣсто, куда года спустя упрется дрогнувшая сталь.

Отходят перегруженныя теплушки.

На мохнатых конях скачут хмурые люди, в галопѣ октябрьскаго вѣтра играя землею в чет иль нечет.

Шумит рѣка ночным шумом:

— Буг-Бог-Буг. . .

— Брест-Литовск, Брест-Литовск — зачарованно шепчет комендант. — А-а-а-, внезапно замѣчает он Зинаиду. — Сейчас не уйдешь! Сейчас уж не уйдешь! — улыбается он жестко и осмысленно.

Зинаида встает и, шатаясь, босая, выходит из купэ. У нея был ребенок. Когда-то.

— Костя, Костя, — шепчет она безсвязно.

Чьи-то руки сжимают Зинаиду; волочат по полу, бросают на койку.

— Костя, Костя, — все шепчет Зинаида и вдруг испуганно и удивленно замолкает.

К ней в темнотѣ наклоняется круглое, сонное лицо поручика.

В полночь комендант приподнимается, зажигает свѣчу, ухмыляясь, сползает с койки и, выглянув из купэ, пріязненно манит поручика пальцем.

Осторожно, опасливо, не спуская с него глаз, поручик входит за комендантом в купэ.

Комендант приподымает свою рубаху и, подойдя близко к свѣчѣ, мизинцем указывает на что-то. Наклонившись, поручик долго всматривается в малую, неровную, сухую ранку.

— Хе-хе-хе, — говорит комендант.

Круглое, сонное лицо поручика багровѣет, пухнет, дрожит. Потом снова мякнет, желтѣет.

Помолчав немного, он непріязненно бросает:

— Это — во снѣ, — и, повернувшись на каблуках, медленно выходит, придерживая рукой живот.

Комендант снова укладывается. . .

Под утро старик артиллерист испуганно его будит.

— Застрѣлилась.

— Во снѣ или на яву? — освѣдомляется комендант.

— На яву. Застрѣлилась, — повторяет старик. — Зинаида застрѣлилась.

— Гдѣ? — суетливо приподнимается комендант.

Поѣзд стоит в степи. Пахнет горячим паром и углем. Сѣрое, жесткое небо облапило землю. Как раны, как сыпь, вздымаются кругом кочки, предгорья. . . кустарником разбросаны молодые ели. На холмѣ чернѣет столб со сбитым царским орлом, налѣво Европа, направо Азія. . .

У самаго полотна, под двумя елочками, замѣчает комендант грязный, темный ком трупа — Зинаиду.

Он подбѣгает, прихрамывая, суетится, приподнимает. С помощью артиллериста вносит труп в вагон.

— В живот? — спрашивает поручик.

— Клади! — распоряжается комендант.

— В грудку, — заикается солдат.

— Пошли? — ищет старик взгляда коменданта.

Поѣзд дергается, шатаясь скрипит — трогает. Паровоз жалобно мычит. . .

Поручик и комендант — каждый в своем купэ — достают бутылки с эфиром, льют на полотенца и жадно припадают. Ощупью пробираются к своим койкам.

Поѣзд идет неровно. Снова останавливается. Солдаты спорят. Матрос зовет к партизанам. Машинист отказывается. К нему присоединяется старик артиллерист: они боятся. Рѣшают пробиться вперед: не бѣлые, так красные — кого встрѣтят.

Матрос надѣвает бѣлье поручика, Зинаиды, два костюма. И тучный, широкій, с туго набитыми карманами, исчезает так же незазмѣтно, как появился, скатывается с полотна... Бывалый человѣк.

Солдаты отцѣпляют задніе вагоны. Локомотив с нѣсколькими бронированными площадками дает свисток и отходит. Все больше и больше увеличивает он разстояніе меж собой и брошенным составом; наконец исчезает вдали. И вид сиротливо стоящих вагонов среди пологой, холмистой степи, жалок и непонятен.

Комендант зрит...

Он лежит на койкѣ — в волненіи, в безпокойствѣ. Его лицо закрыто полотенцем. Что-то бьет молотом об его сознанье, зовет: на помощь, на помощь... Но тѣло ему непослушно.

И вот он отдѣляется, скользит в сторону. Его тѣло все лежит на койкѣ, а сам он торопится на неслышный зов. Бредет. В сосѣднем купэ он находит задыхающагося поручика. В наркотическом снѣ поручик тщетно силится сбросить непослушными руками повязку с лица. Но тугим узлом стянуто полотенце на затылкѣ и собственной пѣной захлебнется поручик. Синими веревками дергаются на его шеѣ вены.

Комендант знает, — лишенный тѣла, он не может развязать узла. Вѣтром обѣгает он одинокіе вагоны. В одном из них на ящикѣ от сухарей лежит труп Зинаиды... Чѣм-то внежизненным касается он трупа, припадает, властно влечет.

Зинаида шевелится, ерзает. Злобно приподнимает черное — в сѣрых круглых пятнах — лицо и огрызается... Как собака, как прирученный волк.

Воронкообразно мечется кругом нея комендант, тянет.

Огрызаясь, Зинаида медленно, медленно, приподымается с ящика, идет к поручику и черными негнущимися пальцами развязывает петлю. Поручик шумно, клекотно дышит, кашляет.

Зинаида поворачивает — как в гипнозѣ — движется обратно. Но не доползая к ящику — падает навзничь, застывает. А верхняя губа ея все так же приподнята, как у безсильно и злобно огрызающагося пса.

Комендант возвращается в свое тѣло; неувѣренной рукой сбрасывает с лица полотенце. Забывается у себя на койкѣ.

Над самым горизонтом костром тлѣло солнце, когда он очнулся.

— Во снѣ или на яву? — произнес он вяло.

Потом задумался: садится ли это солнце или всходит?

Босиком, неслышно ступая, он вышел из купэ, осторожно обошел труп жены и припал к дверному глазку купэ, поручика. Но тотчас же с силой — как от толчка — отпрягнул в сторону: его глаза встрѣтились вплотную с подсматривающими безцвѣтно-голубым взглядом поручика.

Суетливо заспѣшив, комендант вбѣжал к себѣ и схватился за маузер.

— Это вы передвигали Зинаиду? — спросил шопотом, боязливо оглядываясь, поручик, появляясь в дверях.

Комендант рѣшил, что слѣдует сказать что-то торжественное; немного подумав, он произнес:

— Молитесь, каналья.

5

— Почему? — удивился поручик.

Разговор не налаживался. Комендант начал медленно поднимать револьвер.

Отскочив за дверь, поручик рѣшительно выставил свой браунинг. Его лицо было жестоко и сонно. . .

Полотно прикрыто холмами. Не сразу со степи замѣтишь вагоны. А лошади низкія, толстоногія.

Отряд выѣхал на холм.

— Робя, — крикнул широкій в буркѣ. — Машина!

Спѣшились. Молча смотрѣли.

В раздвинутыя двери теплушек торчали пулеметные щиты; на площадках, усыпанных опилками, лежали трупами разбросанные станки.

Вдруг к ним донесся почти игрушечный звук револьверной стрѣльбы.

— Номер шесть, — произнес широкій в буркѣ.

Подождав немного, люди рѣшительно уцѣпились за старыя почернѣвшія, просаленныя сѣдла, с гиком прыгая на лошадок, лавиной пронесшихся к вагонам.

О, сѣдла, — в гнойных пятнах, в сабельных шрамах, — о русскія сѣдла. Сколько потных ног смѣнилось в каждом стремленіи, пока усталые всадники, роняя густую кровь, угрюмо ворочали, то спиной, то лицом, к рубежу; и молча кусая злыя губы, лошади падали, умирая от разрыва сердецъ!

О, сѣдла! О, русскіе сѣдла!

Высоко над полотном, над мчавшимися карьером по кочкам и кустарникам, отрядом, — стоял столб со сбитым царским орлом: налѣво Европа, направо Азія.

С. Шаршун.

XII. ПИСЬМО ДРУГУ.

Дорогой Дмитрій.

Вот уже больше трех недѣль, как вы были у меня и, «по зрѣлом размышленіи», мы выбрали вторник, через 10 суток, тѣм днем, когда я должен буду пріѣхать помочь вам пересадить нѣсколько деревьев.

Впрочем, прикидывали и выбирали вы, т. к. предвосхищеніе этой работы, было мнѣ, по меньшей мѣрѣ безразлично, и очень проигрывало по сравненію с отрывом от моих занятій и замѣнѣ их непрерывным разговором и по поводу произведенной работы, и по всѣм прочим поводам, и чаще всего безо всякого повода, затягивающимся иногда до разсвѣта!

Конечно, вас надо понять.

Я кажется теперь единственный из оставшихся друзей, которых раньше были десятки.

. . . Но, еще сильнѣе я дрожал за свою эмигрантскую шкуру, потому что, как это недавно выяснилось при «шомажной» чисткѣ, проживающим на законном основаніи я являюсь лишь в предѣлах департамента Сены.

. . . Значит у вас я уже безпаспортный!

5*

С этим увезенным Вами рѣшеніем, и желаніем доставить вам удовольствіе своим присутствіем, а в придачу также и получить 20 фр. за работу, съэкономить в питаніи, и заручиться другими полезными для меня вещами и обстоятельствами, о которых только намекалось, или даже и нѣт, но к которым вы, искренне ко мнѣ расположенный, годами уже клоните дѣло, . . . я и находился нѣсколько дней, пока не спохватился, что выбранный нами для моего пріѣзда день. . . приходится как раз на полученіе вспомоществованія.

Правда, в началѣ я предупреждал об этом но в пылу бесѣды все было забыто.

Извѣщая вас о недоразумѣніи, я понимал, что нужно сразу же выбрать другой день, потому-что весна не ждет и предложил пятницу, слѣдующую за назначенным вторником.

Дни шли, и я не без ужаса, задавал себѣ вопрос, как при начавшей опускаться температурѣ, при вѣтрѣ с дождем и снѣгом, я буду работать под открытым небом!

Прикидывая, сколько старой одежды и теплаго бѣлья, нужно взять с собой, я передним числом, за счет двадцати франков, рѣшил купить новый чемодан, т. к. имѣющійся расползается.

. . . Больше же всего меня устрашало само путешествіе с чемоданом. . . жандармы и особенно жители, от станціи до вас, в деревнѣ!

Срок приближался, ваше молчаніе знак согласія.

Чемодана, к счастію, я не купил.

С большими колебаніями, рѣшил раскрыть консьержкѣ всю подноготную, — по крайней мѣрѣ, если аресту-

ют, можно будет установить смягчающее вину обстоятельство.

Утром в пятницу спустился по лѣстницѣ.

Увидѣв меня, консьержка сдѣлала приглашающій жест и таким образом я вошел к ней «для дачи показаній», а она мнѣ вручила секретку, на которой была нацарапана моя фамилія, без Е на концѣ, и адрес, без обозначенія отправителя.

«. . . Все равно, до возвращенія уже ничего предпринять не могу!

. . . Однако, что мнѣ напоминают эти каракули?!», пронеслось у меня в головѣ, пока я опускал вашу секретку в карман.

Затѣм, я заявил, что проведу одну, в крайнем случаѣ, двѣ ночи: 11, rue de la Poste, à Casy-le-Beau.

«Вот и хорошо!, по крайней мѣрѣ немного нарушиться однообразіе вашей жизни!», даже не без порывистости, отозвалась мадам Детіоллаз.

Я зашел купить конфект вашему сынишкѣ.

Затѣм спустился в метро.

«Прочитай письмо-то!», совѣтую сам себѣ.

«А что там, время летит!».

Однако, в вагонѣ я немедленно занялся этим. . . и на первой же остановкѣ, шало из него вышел, чтобы отправиться в обратный путь, т. к. вы извѣщали, что дома не будете!

. . . И как это я сразу не вспомнил вашего почерка?!

«Rebonjours, еще раз здравствуйте!», не без желчи поздоровался я с консьержкой, объяснив суть дѣла, на что она с французской живостью, воскликнула: «что, раньше-то он предупредить не мог?!»

Пришибленный этой отчетливой формулировкой, я, медлительно и тяжко поднялся к себѣ.

«Дѣйствительно, за двѣ недѣли, не собрался извѣстить своевременно!

Выйди я из дому раньше, пока не было почты . . .!

. . . Или даже просто, не забудь помѣстить своего адреса, мнѣ некчему было-бы пускаться в объясненія с консьержкой!»

Грузно опустившись на стул, как был. в пальто, я принялся за чтеніе вчерашних газет, как-то все больше не имѣя желанія мѣнять положеніе, однако начав сморкаться. . . и кончая чтеніе, уже понимал, что схватил насморк.

Но, апетит еще был и т. к. все съѣстное я подобрал наканунѣ, сварил рис.

Пополудни я пытался переписывать, а к вечеру уже был в постели и рису пришлось ждать дня 2—3.

Здѣсь-то я и перемѣнил к вам гнѣв на милость!

Окажись вы дома, мы-бы, конечно, рѣшили, что захворал я у вас на работѣ. . . и что-бы я тогда дѣлал, . . . в придачу к опасеніям заразить вашего сынишку?!

Однако, дорогой Дмитрій, дѣло приняло и еще болѣе благопріятный оборот!

. . . при вашем послѣднем посѣщеніи, она еще оказала вам маленькую услугу, сообщив № моей комнаты.

Эта фарфоровая кукла, хохотушка, поющая даже без излишней фальши, особенно «сгоряча», в первые мѣсяцы по поселеніи, причинила мнѣ немало хлопот.

Она из сѣверных департаментов и поэтому уже блондинка, но живет в Парижѣ, вѣроятно с самого момен-

та бѣгства от наступавших нѣмцев, т. е. приблизительно всю жизнь.

У нее есть рента.

Но, конечно, буржуйка она довольно скромная, раз живет «под одной кровлей» со мной... однако, гардероб ея довольно основателен... да и образ жизни, все-же не чета моему! у нее есть печь, она кормит, являющагося 3—4 раза в недѣлю «своего содержателя», русскаго шоффера, и частенько, подруг.

Одна из них, моя бывшая сосѣдка, комнату которой теперь занимает Сырдин.

С появленіем сѣверянки, обѣ женщины, конечно, быстро подружились.

И вот, здѣсь-то и посыпались шишки на мою голову!

Раздѣляющая нас стѣнка, пальца в 2 толщины, но часто онѣ болтали у открытой двери, примыкающей к моей, т. е. переселившись ко мнѣ всѣм своим существом, кромѣ тѣлеснаго.

«Сюзанна, что ты дѣлаешь?!», слышался голос моей менѣе настойчивой сосѣдки, когда сѣверянка или обвязывала ниточкой, или потихоньку поворачивала мой ключ, забытый в двери.

По временам, Сюзанна принималась вставлять в свои пѣсни, мою фамилію, и нѣсколько раз произносить: «как поживаешь?», а то и «избранныя мѣста» нашего языка, выпытанныя у сожителя.

Я не раз переносил дѣйствіе в русскую среду, чего только не рисуя себѣ! ... вѣдь она могла что угодно наговорить любовнику, полиціи,... могла учинить у себя пожар, лишь для того, чтобы звать меня на помощь!

Наконец сосѣдка переѣхала.

Прошел добрый год «наших отношеній».

Встрѣчаясь на лѣстницѣ, в коридорѣ, или отправляясь за водой, к крану, находящемуся вблизи ея комнаты, я раскланивался, называя ее мадам, хотя и зная, что она мадемуазель, на ходу обмѣниваясь одной-двумя фразами.

С пріятелем же ея, разминовался раза три, в закоулках катакомб и лишь по тому-что он дѣлал это молча, без обязательных Pardon, Monsieur, еще не зная о новых жильцах, я подумал, что это соотечественник.

Словом, в лицо я его до сих пор не знаю, хотя вот уже 2 года, слышу, как он, умываясь под краном, всегда начинает громогласно сморкаться, а сидя в операціоном кабинетикѣ, находящемся, как вам извѣстно, рядом с комнатой Сырдина, сипловатым, типично русским голосом, отхаркивается.

Слышу я также и их воркованіе: ея капризнзое, дурашливое, но и очень счастливое «mais, non», и поцѣлуи при разставаніи.

Хотя однажды, у них был крупный разговор и мнѣ почудилось, что он ее ударил,. . . но, по-русски, ударил — еще не бил!

Сидѣть на облучкѣ, зная что любовница находится «с глазу на глаз» в одной клѣткѣ с другим самцом, не весело, и особенно первое время, он вѣроятно не раз, являлся сверх программы. . . но, «поймать» нас было, разумѣется, нелегко.

Сырдин давно бывал у них и возможно, что когда мнѣ было нельзя, она сидѣла за него у телефона.

Так обстояло дѣло до послѣдних дней.

Нечего и говорить, что я, как и всю жизнь в подобных случаях, чувствовал себя придавленным этой виной без вины. . . но мѣнять из-за этого квартиру я уже

не собирался, ... потому-что, гдѣ я не оказывался в подобном-же положеніи!

Я мечтал встрѣтить шоффера в коридорѣ и познакомиться, но случая не представлялось, да по обоюдной угрюмости, едва-ли бы что из этого и вышло!

К тому же, в самое послѣднее время, в нашем околоткѣ, произошло убійство на романтической почвѣ, что еще увеличило напряженіе, подозрительность и страстность всѣх любовников.

... Но, встрѣча-то все-таки произошла, ... вот сейчас!

Лежа нѣсколько дней не ѣвши, с кислой мутью во рту, я ощущал лишь жажду, для удовлетворенія которой, пользовался водой, принесенной до болѣзни.

Но на четвертый-пятый день, рѣшил ее перемѣнить.

Одѣт я был, как всегда, в рубище и,конечно, не брит.

С кувшином воды, я уже возвращался к себѣ, но привлеченный, сразу оказавшимися за спиной шагами на резиновых подошвах, оглянулся... и шофер, к счастью не потерявшій самообладанія, юркнул в № 00.

... М.-б. во всем этом ничего особеннаго и не было, за два года он мог узнать о многом, наблюдая, например, из своего такси, на ночной стоянкѣ, против нашего дома, когда я ухожу и возвращаюсь, но мнѣ кажется, что какой-то этап, все-таки пройден, и что атмосфера разрядилась!

... И тѣм лучше, знаете-ли, дорогой Дмитрій!

Тѣм лучше!!

Н. Татищев.

ОТСТУПЛЕНІЕ.

Наше войско отходило от Днѣпра в сторону Крыма. Отступали, разсыпавшись в цѣпи, длинныя линіи людей. Солдаты держали винтовки в руках, они шли, как охотники на облавѣ. Между пѣшими возвышался всадник или телѣга под полотняным навѣсом с красным крестом. Над равниной стоял сплошной гром от канонады. Пушки стрѣляли по нас с другого берега, с островов и даже из самой Каховки. Справа и слѣва, спереди и сзади взрывалась вулканами черная земля. Всѣ понимали, что не слѣдует сбиваться в кучи; если замѣчалась группа, значит это чины штаба, или двое солдат помогают идти легко раненому. Среди общаго грохота можно было различить извѣстный ритм: та батарея, которая крыла по нас, выпускала через равные промежутки времени два снаряда направо, два налѣво и одну шрапнель над головой. В четырех мѣстах появлялись столбы взвихренной земли, точно джины из «1001 Ночи» пытались взметнуться до неба, но не хватало сил и они снова разсыпались в прах. Андрей, подъѣхав, кричит слегка срывающимся голосом: Чудно! Какая отчетливость! Бам... бам — интервал — пах... пах. Новая музыка, негритянскіе танцы.

Дойду ли я до той канавы? Боже, спаси и помилуй! Очередной взрыв немного впереди скрыл двух людей; когда столб разсѣялся, шел только один. Рядом в санитарной повозкѣ хрипит тяжело раненый взводный Власов. Утром он был примѣрным унтером: рослый, усатый, с начищенными сапогами и пуговицами. Сейчас это раздавленная куча из тряпок и чего-то вязкаго, от которой всѣ сторонятся. Тигр превратился в лягушку. Он лежит, кажется, на спинѣ, слабые пальцы хотят что-то схватить или оттолкнуть, как у младенца. Еще утром он кричал на солдат: Какая там б. . . . в хвостѣ курит? льстил командиру, всюду появлялся, веселый, расторопный. Охотился за бабами в Основѣ, может-быть успѣл переночевать у одной. На стоянках обучал солдат патріотическим пѣсням. Сейчас он узнал, что вся жизнь его была нелѣпа и что бодрость и патріотизм перед лицом смерти — вредная чепуха и ложь. Два взрыва, один совсѣм близко, другой подальше. Меня надо сохранить. Я еще могу быть полезен. Боже, клянусь, обѣщаю Тебѣ, что я это сдѣлаю. Если я дойду до хутора, я уйду от них. Р-р-раз. И опять эта слабость и пустота, тошнотворная приниженность всего тѣла к землѣ. Распластаться и зарыться поглубже в яму, ниже травы, слиться с черноземом, может-быть визжать. Но глупое тѣло еще соблюдает приличія: оно не ложится в канаву, гдѣ могло бы спастись, но перепрыгивает через нее и идет дальше, только если взрыв очень близко, голова едва замѣтно втягивается в плечи.

Дальній хутор, как мираж, чуть поднялся над горизонтом, стоит будто среди озера. Туда снаряды не долетают. Там сказать Андрею: Прощай, я уѣзжаю,

мнѣ плевать, что будут говорить, что буду дѣлать, не знаю, возможно, что пойду в монастырь, но во всяком случаѣ больше в этом дѣлѣ участвовать не желаю. До лиловаго репейника шагов 20, это как 20 лѣт, 20 раз можно умереть. Если дойти до него, не останавливаясь сорвать нѣсколько колючих цвѣтов, сколько удастся на ходу, скатать шар и не оборачиваясь бросить его назад через плечо, подальше, тогда спасен. Господи, помилуй. Заступись, спаси, помилуй. А вдруг все кончится благополучно и вернусь к старым штукам? Да не будет этого.

Затишье на нѣсколько секунд и опять ураган с новой силой. Вот тут-то на исходѣ я и погибну, это всегда случается, когда главная опасность миновала. Сзади чей-то гнѣвный голос: Что за бардак убитых оставлять? Сидоренко! Абдулрахман! .. В небѣ шум машины, высоко как ястреб кружит аэроплан, неизвѣстно чей. Новое ощущеніе: торжественная серьезность, глубокая значительность всего того, что происходит вокруг. До сих пор все были пустяки. Я любовался природой, пейзажем, но это была ложь, как «Боже Царя Храни» у Власова. Теперь будет по новому, на хуторѣ додумаю, пойму. Огонь несомнѣнно ослабѣвает. Наши цѣпи спустились в лощину и перестали быть видимы с той колокольни, откуда непріятельскій наблюдатель с телефоном руководит обстрѣлом. Снаряды теперь ложатся рѣже и дальше.

Я осмотрѣлся. Невдалекѣ шел прихрамывая Диди, невысокій, сутулый. Незнакомые солдаты шагали по травѣ, сосредоточившись, в глубокой задумчивости. Длинная фигура всадника ѣхала рысью наперерѣз цѣпям. В наступившей тишинѣ вдруг раздалось веселое

ржанье. Хохот, крики «мать-перемать» неслись от кучи солдат, куда со всѣх сторон подбѣгали другіе. Это громили двуколку с захваченными из Каховскаго кооператива товарами. Пустыя гильзы и листы папиросной бумаги носились в воздухѣ, переворачиваясь, как хлопья снѣга или как бѣлые мотыльки. Коробки с дорогими крымскими папиросами лежали раздавленныя в травѣ.

Хутор, куда мы пришли, оказался оставленным своими хозяевами. Здѣсь было нѣсколько пустых строеній, отдѣленных от степи изгородью, и сторожили их два пирамидальных тополя, видимые за десятки верст. На дворѣ было чисто, не осталось ни телѣг, ни скота, ни птицы, все было вывезено владѣльцами или проходившими раньше войсками. Под окнами чахли давно не политые листья настурцій и табака. На огородѣ пышно разраслась голубая капуста. Между грядами уже бродили солдаты, напившіеся у колодца, высматривая луковицу или морковину. Новый Власов с черными усами шарил по погребам, не запряталась ли гдѣ бутылка водки, кусок мяса или не успѣвшая бѣжать дѣвка-работница. Нѣт, ничего не осталось. Единственное, что еще есть — вода в колодцѣ, но и ее скоро всю выпьют. Безпрерывно скрипит колодезное колесо, и ведро за ведром поднимается из-под земли. Перед колодцем стоит очередь наших и чужих солдат. Пьют прямо из ведра, фыркают, наливают во фляги, окачивают голову. За забором сразу равнина, на ней желтая скирда, подпертая шестами. Под соломой с тѣневой стороны устроились пулеметчики, они уже разложили костер варить чай. Мнѣ предлагают кусок хлѣба с луком, извиняясь, что не успѣли захватить ничего лучшаго.

Они уютно расположились, сняли свои французскіе шлемы, развалились и курят кооперативныя папиросы. Вот уже замелькали карты и появилась бутылка с мутной жидкостью — самогоном. Налили этой жидкости и мнѣ 3/4 чайнаго стакана. Мелкими глотками переливается в горло отвратительная теплая микстура. «Первый глоток коло́м, второй соколо́м, остальные легкими птицами». Не останавливайся, чтобы скорѣе изнутри ударило в затылок и мір просіял полными красками. Та же голубизна и золото вокруг, но насыщенные до краев, до почти невыносимой густоты, в гармоніи с запахами высыхающей травы, мяты, дегтя, лошадинаго пота и уже не противнаго алкоголя. Остановиться нельзя, поздно уже, да и не надо. Я впервые отравился алкоголем, четыре года назад, в Муравьях. Это была очень жуткая ночь; казалось, что сходишь с ума или уходишь в дебри, не успѣвая ставить на пути замѣт для возвращенія. С тѣх пор я всегда пьян, то больше, то меньше, но окончательно не протрезвился ни на одну недѣлю.

Стало совсѣм тихо. За хутором рыли землю. Послѣдніе раскаты боя давно замерли. Степная птица закричала в травѣ. В вечернем огнѣ дальнія копны и курган стали похожи на камни, на огромные валуны, упавшіе с неба. Нѣсколько лошадей, привязанных к телѣгам, уныло жевали. Каски и шашки на травѣ могли сойти за вооруженіе воинов из древних эпох. Самогон пахнет паровозом, он удушливый, теплый, но от него становится радостно и свободно. Зароились разныя утѣшительныя мысли о благополучіи этой легкой жизни среди степного ковыля. На сегодня сошло, а завтра боев вѣрно не будет, раз что уходим в Крым. Хотѣлось

от легкости бѣжать куда-то, говорить с Андреем про «войну и буддизм», но я знал, что блаженное состоянiе сохранится дольше, если не двигаться с душистаго сѣна.

Мысли, легкiя, ясныя, значительныя библейскiя мысли, за ними не угнаться. О давно прошедших временах; о жизни человѣка, дни котораго как трава и так же безслѣдно мелькнут по землѣ. Кто через нѣсколько дней вспомнит Власова, котораго только-что зарыли за яблонями? Его семья вѣроятно давно, еще с германской войны, считает его навсегда пропавшим. Так легко прошли по здѣшней землѣ тысячи поколѣнiй, не оставив ничего, кромѣ курганов, которые теперь перепахиваются и засѣиваются пшеницей и кукурузой, так-что через нѣсколько столѣтiй они опять сравняются со степью. Так пройдем и мы, Диди, Андрей с его грандiозными планами, да и я. О, утѣшительная сладость степи с курганами для всякаго человѣка, для военнаго в особенности! Все кончается в свое время и я отнынѣ буду жить так, чтобы ничѣм не отличаться от самаго неизвѣстнаго из моих предков.

Мѣдное солнце скрылось наконец за окаменѣвшей степью. Начало быстро темнѣть, зажглись звѣзды. Шесть солдат, вызванные поименно вахмистром, неохотно поднимаются, нацѣпляют оружiе и уходят куда-то в темноту, в охраненiе. Как свѣтляки, в травѣ свѣтятся папиросы. От колодца доносится чья-то ругань из-за того, что нѣт больше воды, и чей-то голос оправдывается, что и так лошадям дали только по полведра, что умываться ей-Богу никто не умывался и что к утру воды набѣжит достаточно. У забора кто-то мочится. Около костра кто-то кому-то плетет медли-

тельный разсказ, и ясно слышен кусок непонятной фразы: это тебѣ не корова, друг. Не корова, да и не собака.

Наступила ночь, но заснуть не удавалось. Мѣшало возбужденіе, голод и слишком большая усталость. У костров нѣкоторые солдаты в таком же состояніи курили и переговаривались, другіе уже затихли. Непремѣнно надо было заснуть, чтобы бодрым встрѣтить новый день, от этого на войнѣ зависит многое. Приходи же, сон. Лежать тихо и не шевелиться, тогда сон придет. Как это было? Мы шли, шли. Я дал обѣт уйти в монастырь. Многіе из нас в трудныя минуты давали такіе обѣты, почти всѣ вѣроятно. В бѣлом храмѣ, на сѣверѣ, Кудеяр замаливает свои грѣхи. Весь город Ярославль был виден на высоком берегу Волги, когда я выходил на лыжах из лѣса. Сперва разбѣгались мѣщанскіе домики поселка, розовые и желтые, в три окна, с дымами, уходящими в небо вертикальной струей; в одном из них я бывал, у гимназиста Савицкаго. Дальше снѣжная равнина Волги с чернѣющими кое-гдѣ одинокими пѣшеходами или обозом саней. На другом берегу на холмах расположился город с нашим домом, с бульварами и колокольнями. Я уйду в самый захудалый монастырь. Не худосочный епископ, князь церкви, а коренастый сѣрый монах идет на лыжах в лѣс за дровами или весной копается на огородѣ среди берез. Церковныя стѣны были тогда свѣже покрашены к ожидавшемуся весной высочайшему пріѣзду по случаю трехсотлѣтія дома Романовых. Купола отличались чрезвычайным разнообразіем форм и окрасок. Были синіе с серебряными звѣздами, зеленые с красными разводами, золотые, выложенные рыбьей чешуей, ку-

пола в видѣ пасхи, кулича, яйца, груши, луковицы, похожіе на головы персидских вельмож в чалмах и тюрбанах. Толстые купола на тонких гусиных шеях, на вид тяжелые, на самом дѣлѣ легкіе, пустые как воздушные шары. В снѣгу и на морозѣ эта архитектура казалась мнѣ великолѣпной, и я зарывался лицом в сугроб: благодарю Тебя за жизнь. Когда спускался вечер, над переулками звонили колокола. Каждый квартал имѣл свой храм. И улицы носили не легкомысленныя названія, как в Европѣ: rue des Mauvais garçons, rue du Chat qui pêche — на улицѣ с таким именем мои предки не поселились бы — а серьезныя, церковныя: Трехсвятительская, Духовская, Козьмодемьяновскій переулок. За всенощной иногда охватывало чувство спокойствія, защищенности, безконечнаго уюта. Как в поѣздѣ ночью, когда наверху мигает, качаясь, синій ночник и натопленный вагон переваливается, как слон на просторах, между Астраханью и Архангельском. Тогда терялась нить богослуженія и было странно, придя в себя, обнаружить, что все еще не кончилась короткая Просительная Эктинія. Стоять надо не прислоняясь к колоннѣ, не потакать своей усталости. От тренировки выстаивать службы с каждым годом становилось легче. Через час все в тебѣ утрясется и успокоится, боль в спинѣ пройдет, и спустится тишина Вечерняго Свѣта. Из своего угла замѣчаешь игру воскового свѣченія на цвѣтных эмалях, сквозь фиміам. Чтецы читали тогда невнятно, не так как теперь, далеко не все можно было разобрать, и среди бормотанья кафизм лишь по временам выплывал знакомый текст, ясный, круглый, ветхозавѣтный: «Человѣк яко трава, дни его яко цвѣт селній», то-есть полевой цвѣток. Или: «беззаконія мои

аз знаю и грѣх мой пред Тобою есть выну. Тебѣ Единому согрѣших и лукавая пред Тобою сотворих. Ибо в беззаконіи зачат есмь и во грѣсѣх роди мя мати моя»... И вот уже конец, а я бы еще постоял часа два; запѣли «Взбранной Воеводѣ», и послѣднія старухи снимаются с мѣст. Стоя в самом темном углу, я боялся, что вдруг случайно войдет и обнаружит меня один из гимназистов: Сыропятников, Галактіонов или Савицкій. Они меня считали порядочным человѣком, так как я участвовал в субботних собраніях. На всякій случай придумывал оправданія: наблюдаю толпу, изучаю фрески. Но этот страх мѣшал сосредоточиться. И вот тепрь тот самый Савицкій подъѣхал верхом, когда я лежал на сѣнѣ. Когда он подъѣзжал, высокій всадник под звѣздами, я его сразу узнал, хотя раньше я не слышал, что он воюет в наших рядах. Я рѣшил его не окликать — столько лѣт прошло, и о чем мы будем говорить, но он сам разглядѣл меня в темнотѣ. — Лежишь, брат? Ну как? Да ничего, а ты как? Да скорѣй так себѣ, хотя в общем недурно. Вот ты какой стал, настоящій кавалерист, посадка... Ты что, всегда что ли был военным в душѣ? А ты сам? .. Это, брат, не корова хвостом вильнула, сказал Савицкій чужой фразой, заимствованной у какого-нибудь полковника. Потом он уѣхал в темноту, а я продолжал засыпать и вызывать искусственныя сновидѣнія. Было душно, звѣзды над головой и лошадиныя ноги поблизости. Сѣно заползало за ворот, щекотали колючіе стебли, шершавые листья и травяныя насѣкомыя. Раз, очнувшись, замѣтил, что костер потух и кастрюля Большой Медвѣдицы значительно передвинулась на горизонтѣ. Потом лошади перестали жевать и одна из них легла.

Посвѣжѣло и стало свѣтать. И вдруг послѣ болѣе продолжительнаго забытія сразу наступил новый день — 19 іюня 1920 года. Он пришел в духотѣ и знoѣ, и за густой завѣсой над равниной не было видно восхода солнца. И он не принес отдыха: закричали «подъем» как раз в ту минуту, когда удалось бы заснуть по настоящему.

Мы пошли куда-то в сторону, не в Крым. Взвод за взводом потянулись заспанные люди мѣсить ногами пыль, под сѣрым небом, по сѣрой степи. Степь: трава бурая, трава рыжая, безцвѣтныя дали. Голова была такая тяжелая, что не особенно поразило то, что сообщил Андрей: — Тебя нашел этот, как его, артиллерійскій капитан, Соловьев, что-ли? Который всѣх перебудил, всѣх спрашивал, гдѣ ты находишься? Что он тебѣ сказал? Так он убит. Пред разсвѣтом, вон там, в заставѣ. — Степь: кое-гдѣ цвѣты, лиловые, сѣрые, розовые, но все тусклые, выжженные, обезцвѣченные. Колючіе, сухіе, двужильные, идущіе на приправу к баранинѣ; тмин, укроп, петрушка. Мы уже давно шагали, маршировали по узкой дорогѣ через пыль, как по песчаному руслу пересохшей рѣки. От пыли все вокруг увядало. Сѣрые дымы клубились над степью. Наши взводы плыли по шею в пыли. Равнина распадалась, трескалась и дымила сухим туманом. Мір без влаги разсыпался на атомы. Изрѣдка раздавались подземные толчки, приглушенные взрывы. Было пусто, никого, ни красных, ни зеленых, ни бѣлых, только мы, небольшая куча сѣрых. Раза два мы обогнули высохшіе колодцы. Сперва шли по прямой линіи, потом завернули, потом стали кружить. Долго лавировали между двух стогов, шагали обратно. Гдѣ тыл, гдѣ непріятель, и ку-

да идем, вѣроятно не знал сам командир, однако не показывал вида: шел среди нас, невысокій, полный, прихрамывая. Вот справа остался хутор с тополями, совсѣм похожій на тот, гдѣ мы ночевали. Потом около дороги появилась роща молодых деревьев, посаженных правильными рядами, как на старинных картинах, изображающих рай. Тут я сказал прапорщику Муравьеву, который только на-днях был произведен из вольноопредѣляющихся и еще не совсѣм свободно чувствовал себя в новом положеніи: Сегодня вечером в такой рощѣ ты будешь танцевать негритянскій танец, обнявшись с капитаном Савицким.

Мы спустились на дно оврага, гдѣ не было ни влаги, ни тѣни. Солнце теперь проникало всюду, огненный шатер покрыл все: нашу группу, прятавшійся гдѣ-то по сосѣдству Днѣпр, Харьков, Москву, море сзади под песчаным обрывом степи. Брось все, оставь это дѣло, возвращайся в Крым, заведи сад с виноградником, Андрей не найдет тебя. Но Крым ненадежное убѣжище. Тогда уѣзжай за море и устрой себѣ солнечный сад в Италіи. Можешь жениться. Для русскаго графа, молодого, знающаго языки, это просто, и милліонерша не обязательно вдова и урод. Степь: ванна из пыли и огня. Лиловые острова. Купанье в брызгах чернозема, омовеніе пустынь. Идти, идти. Лѣвой, правой. «Глубокій обход», сказал кто-то, и впереди мы увидѣли, как мираж, не крымскія горы, не Азовское море, а знакомый силуэт города с тремя колокольнями: вчерашній Береславль на том берегу невидимаго пока Днѣпра. Потом, чуть спустившись, мы уже не видали его, но каждый узнал, что мы снова вступили в зону сраженія. Около полудня был сдѣлан привал, в низи-

нѣ, у виноградников. Рядом с нами расположились откуда-то появившіеся офицеры из штаба дивизіи: Черепа́нов, Цу́йманов, подтянутый Фуфае́вскій и другіе. Они пригласили нас закусить с ними, и хотя у них была водка, это сосѣдство не предвѣщало ничего хорошаго; можно было теперь ожидать, что появится начальник, генерал Гурьев, и скажет, увидя Диди: А, полковник, вот кстати, только что хотѣл послать за вами, не угодно ли вам будет аттаковать вон тот участок.

Штабной поручик Фуфае́вскій, всегда бодрый и готовый по первому зову начальника штаба Ардальонова срываться и бѣжать куда-то, распорядительный, худой, похожій на оффиціанта из дорогого ресторана, отпил из металлическаго стакана и сказал: Здравія желаю, и понизив голос: — В Мелитополѣ ждут Главкома. Надчив полагает, что завязывается послѣдній, рѣшительный. Стянули Донцов, цвѣтных, тяжелую артиллерію. Прорвем и айда за Днѣпр. Всѣ пути ведут в Москву. Еще прика́жете? Лучшее средство против жары. Полковник Черепанов? Не угодно ли флакон легкаго Крымскаго. Исламэдинов! Тащи из моего вьюка подкрѣпленіе! Еще по предпослѣдней.

Все коричневое и лиловое соединилось в торжественной гармоніи полуденнаго затишья. Тяжелый бронзовый шмель жужжал над землей между нашими сапогами и цвѣтами клевера. Война осталась в сторонѣ, перешла на другую планету.

— Много нельзя, сказал Черепанов, хотя впрочем, гдѣ наше не пропадало. Закупорим дырку и заткнем Сиваши. — Что это вы, дядя, мелете, перебил Фуфаевскій, с таким неподдѣльным испугом, что всѣм стало смѣшно. Чорт знает что мелете, гдѣ Сиваши, а гдѣ

Днѣпр. . . Впрочем. . . еще по одной. Замётано. Отдых длился около часу, послѣ чего мы разстались со штабными и пошли в другом направленіи, в сторону выстрѣлов. Как всегда, когда приближаешься к линіи огня, шли с остановками, во время которых Андрей уѣзжал вперед высматривать позиціи. Теперь мы были в районѣ больших виноградников, что указывало на близость села. Наконец, мнѣ намѣтили участок, все около того же виноградника. Мой взвод залег в резервѣ, на склонѣ — впереди шел бугор с кустами, как при первом моем сраженіи, в прошлом году. Направо, на далекое разстояніе, были видны наши цѣпи, черныя фигуры лежащих солдат, иногда пропадавшія в травѣ или в складках мѣстности. Рядом, как и вчера, оказались спѣшенные гродненскіе гусары, за ними бригада Марковцев. Пулеметчики в кого-то стрѣляли, но не часто, берегли патроны. Голенища сапог, приклады, камни на полѣ, все так нагрѣлось, что обжигало руку; я думал, что за эти дни удастся хорошо загорѣть, и старался дремать так, чтобы не было замѣтно со стороны. Вдруг меня окликнула густой генеральскій голос, и сам начдив Гурьев подошел ко мнѣ. Он был один и имѣл вид благожелательный. Он сдѣлал мнѣ знак продолжать сидѣть и, так-как я все-таки порывался встать и рапортовать: — ваше превосходительство, во ввѣренном мнѣ пулеметном взводѣ 2-го эскадрона Н. . . Кавалерійскаго дивизіона происшествій не случилось — уперся в мое плечо с погоном и сам сѣл рядом со мной.

— Ну, как у вас? Люди не очень устали? Вам еще повезло, удалось поспать ночью. Зрительная связь с правым флангом, я вижу, есть. Главное — не нарушить общей линіи, когда пойдете вперед. Ну да, в вас я

увѣрен. Конечно, в пѣшем строю для кавалеристов. . . ничего, потерпите: на той недѣлѣ дадим вам лошадей. Здѣшняя обстановка напоминает мнѣ один случай в Японскую кампанію. Отряд самураев засѣл в кустах у рѣки, вон как они сейчас, но то были самураи. Мы тоже спѣшены, прокрадываемся справа, казаки захватывают слѣва, и что вы думаете? Всѣх. Поголовно. Послѣдніе сами один другого перестрѣляли. Но там, конечно, другое дѣло. Однако пойду дальше. Главное, всей цѣпью, давить, жать, жать. И смотрѣть вправо, скажем, гусары залягут, вы еще немного пробѣжите, потом они поднажмут, потом вы, не отрываясь, и так дальше. Ну, да вас нечего учить, за ваш участок я спокоен. Надо еще гусар посмотрѣть. Не безпокойтесь, до-свиданія. Всего хорошаго, граф.

Оставшись один, я ощутил прилив бодрости и стал хотѣть, чтобы поскорѣе перешли в аттаку. Огонь не усиливался и не ослабѣвал. Прошло еще около часу. Неожиданно для меня, так-как я не слышал команды, мои сосѣди по обѣ стороны вскочили на ноги, сорвались, и одни с винтовками на перевѣс, другіе, волоча пулеметы и круги, побѣжали вперед, вверх, один за другим, ныряя в виноградник. Они бѣжали, пригнувшись, щелкая затворами, и я вспомнил рисунок в старом журналѣ: нападеніе хунхузов на желѣзно-дорожную насыпь. Но вдруг Гурьев наблюдает, а я остался сзади. . . И я сорвался и скоро обогнал всѣх. За подъемом оказался огород и крыша сарая, но солдаты почти тотчас же залегли у канавы и забора, отдѣлявших виноградные кусты от зарослей гороха.

До сарая было недалеко, шагов сорок. Половину этого разстоянія за мной бѣжали, но все время сзади

увеличивалась пустота. За кольями, увитыми ползучим горохом, которые на пути я разбрасывал и давил, оказалась открытая лужайка с зеленой травой. Сарай стоял сбоку, наискось, к нему по травѣ вела тропинка, потом она сворачивала и спускалась к вётлам и ивам. Навѣрное там рѣка и тут раньше бабы ходили за водой. Да, внизу за ветлами блеснул Днѣпр. Стало пусто и тихо.

Но я не один на полянѣ, рядом высокій унтер из прошлогодних, Ковалев, из 1-го эскадрона. Со странным выраженіем глаз — точно происходит какая-то ошибка этикета — он говорит: Господин корнет, у меня вышли патроны. Может-быть глазами он хочет мнѣ показать что-то, чего я не замѣчаю. — Ничего, Ковалев, идите так. — Слушаюсь, господин корнет. И только тут я замѣчаю: около нас еще солдаты, но спереди. Как они успѣли забѣжать?

Трое или четверо перебѣжали перед нами тропу под вѣтками, таща пулемет. Одновременно откуда-то сбоку выскочил и обогнал меня с Ковалевым прапорщик Муравьев, загорѣлый, в бѣлой гимнастеркѣ, в англійской фуражкѣ. Он что-то кричит на ходу — кажется, ура.

На какой-то промежуток времени все замерло на зеленой полянѣ. Я понимал, что происходит что-то очень значительное во вселенной, какое-то торжество, вродѣ того момента за литургіей, когда послѣ возглашенія іерея: «Твоя от твоих» хор медленно начинает: «Тебѣ поем». Это почувствовал, повидимому, и Ковалев, замершій на мѣстѣ с просвѣтленным лицом. Он стоял как бы в нерѣшительности: стать на колѣни, или не

надо? Кажется, задержался на бѣгу и Муравьев. И все застыло в таком восторженном покоѣ, что я вознегодовал на Муравьева, который первый нарушил его, точно не выдержав напряженія: он взмахнул рукой и обернувшись посмотрѣл на меня, прямо в глаза, с видом какой-то досады или укоризны. Одновременно из-под сучьев загрохотало. Как в замедленном кинематографѣ Муравьев начал неестественно медленно падать на спину; вот он на землѣ, лежит слегка на боку, но все еще с вытянутой рукой. Ковалев качнулся, сказал «эх» (или что-то в этом родѣ) и упал вперед. Меня отбросило вбок, за сарай.

Та же лужайка, но с другого пункта, из-за сарая. Ковалев лежит, уткнувшись лицом в траву. За сараем, оказывается, бойко разросся кустарник, здѣсь почти темно, солнечныя пятна трепещут по землѣ. Рѣки отсюда не видно, Муравьева тоже. Ужасно трещат выстрѣлы, голова моя однако, кажется, цѣла.

Но вѣдь в меня могут попасть сзади, свои. Но вот что самое важное. Земля здѣсь идет отвѣсно вниз, под кустами овраг и, кажется, глубокій, котораго я сперва не замѣтил. На днѣ его растает бузина.

Там было сыро, темно и защищено от пуль. Сильно, но не слишком, болѣло плечо, бок и колѣно — не помню, как и обо что ударился, о сарай или о землю, когда меня швырнуло.

Вдруг я оказался в странном одиночествѣ, непричастным к войнѣ, отдѣленным от наших и от непріятеля. Всѣ исчезли. Их стрѣльба удалялась. Я жив и, кажется, не ранен. Двое со мной убиты, меня отшвырнуло, сзади видѣли, что я не сам бросился в кусты. Но теперь жить, жить, во что бы то ни стало. Я сѣл

на землю, в глубинѣ оврага. Под бузиной пахло гнилью, торчал корень, лежала шишка, яичная скорлупа, черепок тарелки с синим узором: огромный мiр, загадочный мiр живых вещей.

Я когда-то начал правильно жить и потом забыл. Вернуться к самому началу, до того, что началась путаница, к первому, в раннем моем дѣтствѣ, кусту бузины. Схватишь его за вѣтку, тебя обрызгают капли дождя, недавно пролившагося над домом. От дома слышны голоса, а под бузиной свалочное мѣсто, куда бросают яичную скорлупу и картофельную кожуру, и там копошится щенок, сын Плевны и Карса. Прямо от земли, от жилистых корней расходятся корявые сучья. Взбираюсь, кряхтя и падая, сѣдлаю сук, ѣду верхом. Страшныя опасности миную, частью хитростью, частью отвагой. В самые рискованные моменты закрываю на миг глаза, и вот уже катастрофа миновала.

Я тогда начинал правильную жизнь, в реальном мiрѣ вещей. Теперь я вспомнил это и, может-быть, мнѣ удастся спастись. Овраг уводил от рѣки, как мнѣ показалось. Я пошел по дну его, ломая и разгребая кусты, обдумывая, как поступить, если наши отбиты и я окажусь в плѣну. Из того мiра, сверху и со стороны, донеслось «ура, ура» вперемежку с руганью и выстрѣлами. Если наши ушли, я срѣжу погоны, сброшу кокарду и выйду ночью, даже завтра, из этого зеленаго прохладнаго убѣжища.

Я, оказывается, крѣпко связан с мiром, кусты и овраги защитили меня лучше, чѣм Ковалева, Савицкаго, Муравьева и стольких других, лучше, вѣроятно, чѣм Андрея. Земля опять уберегла меня. За какiя заслуги? Ради каких новых подвигов?

Я провел в кустах много времени, нѣсколько часов, кажется, во всяком случаѣ дольше, чѣм слѣдовало в моем положеніи, и только под вечер взобрался по откосу и посмотрѣл на мір сквозь листья. Было пусто, тянулись огороды, за ними хаты. Это были задворки все той же деревни и, высунувшись подальше, я увидал сарай и лужайку, теперь как будто пустую. Людей долго не было видно. В чьих же руках эта деревня? Если всѣ войска ушли, непонятно, почему прячутся жители.

Наконец, за огородами прошел человѣк, ведя в поводу лошадь. Теперь всѣ сомнѣнія отпали: спасен. Ясно видны были казачьи лампасы и погоны. Выждав, что он удалится, я вышел и пошел в деревню.

Первых, кого я встрѣтил на улицѣ, были Иванис с группой моих пулеметчиков. Они встрѣтили меня радостно, их лица выражали одобреніе моей отвагѣ. Но я сердито сказал им:

— Ну что ж вы застряли на огородѣ или в виноградникѣ, черт возьми! Да к тому же чуть не попали в меня, когда меня отбросило к сараю, так что щепки летѣли и солома на крышѣ с моей стороны. Имѣйте в виду, чтоб больше это не повторялось! Убитых по крайней мѣрѣ, вынесли? Или оставили, по вашему обыкновенію? . . .

Анатолій Алферов.

РОЖДЕНІЕ ГЕРОЯ (отрывок из романа).

Я не знаю что там — за чертой,
Откуда явился герой;
Говорят — пустота,
Говорят — темнота,
Говорят, что родятся на свѣт,
Чтоб пред Богом держать отвѣт;
Но родиться так тоже могла-б
Пустая, бездонная мгла.

В. Мамченко.

В жизни каждаго человѣка наступает пора *ощутимаго* внутренняго роста. Человѣк попадает в луч какого-то таинственнаго прожектора. Всякая соринка в нем начинает свѣтиться. Весь неиспользованный опыт *проявляется* в сознаніи, — теперь это уже не «муть», не «хлам», а живая сила. Человѣк вдохновенно рвется в бой. Сотни планов и тысячи идей. Мір кажется адом с райскими возможностями.

В жизни парижанина, Валентина Егорова такая пора наступила зимою 1930 года.

Но почему ея приход совпал именно с указанным годом, — по каким неизрѣченным законам бытія это

вообще случилось, — было-ли начальное происшествіе, о котором зайдет рѣчь, только поводом. или оно явилось и причиной, в сущности *породив* героя, — автор не знает. Не знает и герой.

Во всяком случаѣ из людской массы Егоров выдѣляется и попадает в роман — к началу происшествія, т. е. когда под вечер одиннадцатаго сентября, шагая по улицѣ Лекурб, он только-что пересѣк Камброн.

В глазах автора к тому времени он еще не имѣл исчерпывающих, отличительных признаков. Опредѣляло его не по возрасту юное и не по настроенію пасмурное лицо — и только. У него не было ни фамильной родинки на щекѣ, ни характернаго шрама поперек лица, который говорил-бы без слов о его причастности к гражданской бойнѣ, ни тика, ни особой походки с каким-нибудь показательным вывертом; голос у него был вполнѣ заурядный, костюм — тоже (а не перелицованный, не с продранными локтями), и небрежным жестом он не извлекал из кармана портсигара, чтобы закурить (портсигара у него вообще не было), — иными словами, его нельзя было-бы изобразить двумятремя штрихами, и живым он от этого не стал-бы. Но неподатливость оформленію только подчеркивала подлинность его натуры. Он был уже человѣком в самом неограниченном смыслѣ этого слова, — самобытным и свободным и мог даже по собственной волѣ выключиться из литературнаго плана. Разумѣется, как всякій свободный человѣк, он *плохо* владѣл своей свободой, еще не догадываясь, перед какими увлекательными и трудными задачами она могла-бы его поставить. Так, стоило ему хотя-бы немного отклониться от предначертаннаго пути — стать, напр., в очередь за вино-

градом, который в описываемый момент прельстил его своей *несообразной* свѣжестью, — чтобы «формула міра» уже измѣнилась, автор тотчас-же усомнился в своем призваніи и тѣм привел героя в совершенно невозможное состояніе. Но этого не случилось: молодой человѣк неуклонно шел по Лекурб навстрѣчу судьбѣ.

Он шел базарным рядом по киснущим в подножной грязи капустным листьям мимо крытых передвижных лотков и лавок, заваленных фруктами и овощами, рыбою, битой птицей; мимо румяно-багровых, раздутых исподним тряпьем и осипших от выкликаній торговок; — дряхлых оборванцев, потерянно сующих под нос костлявую руку с пучком чесноку или шнурками для ботинок; мимо сладко улыбающихся из витрин свиных рыл и одиноко млѣющих в прохладном полумракѣ, разукрашенных словно под вѣнец нѣжно-алыми и голубыми лентами, бараньих туш. Кругом него желчно надрывались клаксоны. Цѣлая лава колес, рычагов, резиновых шин «яростно» ползла вдоль тротуаров. Иногда ухо улавливало язвительные и безсмысленные, тотчас-же утихавшіе протесты. Взгляд без задержки пробѣгал по назойливо-живописным товарам. Егоров ни о чем не думал, погруженный в смутную игру каких-то своих полу-музыкальных, недоразвившихся чувствованій. Время от времени эти чувствованія, перескакивая через базарную вакханалію, обращались в довольно плоскій образ: ему, напр., представлялось, как он сейчас ляжет и отдохнет, или в каком платьѣ его встрѣтит сегодня вечером Галина Сергѣевна; а то вдруг запах от рыбы и водорслей на мгновеніе подпольно связывали его с морем, которое он не любил, хотя и был в свое время матросом. Все это ему однако не

мѣшало с удовольствіем подставлять небритыя свои щеки и голубые глаза под свѣжій (совсѣм почти морской) вѣтер. Под колѣнями у него пріятно ныло, и все тѣло, перемѣстившись из рабочаго костюма в городской и из затхлаго подвальчика на улицу, в каждой ощутимой точкѣ испытывало такую-же усталую, разочарованную немного радость. В этом мутно-обманчиво-радостном настроеніи и с тѣм-же пасмурным лицом он принялся насвистывать популярный фокстрот «Китайскія ночи».

Французская мелодія понемногу привела его в себя. Улица ему уже не казалась тусклым орнаментом неизвѣстно к чему. Все стало отчетливым, разбросистым, уродливо-цѣлесообразным, значительным и вполнѣ соотвѣтствующим тому, что было показано. Даже шмыганье собственных подошв по грязи теперь долетало до слуха и было важно. Он уже мог видѣть себя извнѣ, как-бы оброс плотью, превратившись в болѣе доступнаго пониманію человѣка. Когда припѣв — «. . . китайскія ночи, ночи нѣги, ночи любви. . .» — был отсвистан, ощущеніе нелѣпой цѣлесообразности возрасло. Ему стало вдруг *обидно* за людей.

Можно предположить (поскольку не безразсудны вообще попытки осмыслить человѣческую судьбу), что вся натура Егорова в тот момент под разными предлогами *требовала* энергическаго внѣшняго на себя воздѣйствія, — что требовалось катастрофическое происшествіе, чтобы раскрыть ему смысл свиных улыбок, скрюченных стариковских пальцев со шнурками, автомобильнаго «яростнаго» воя и прочих темных парадоксов, — что именно эта обида пусть даже легонькая и мимолетная, готовая каждую минуту перейти в восхи-

щеніе, такое-же летучее, перед любым смазливым женским личиком, — и *связала* его с дальнѣйшим ходом событій.

На слѣдующем перекресткѣ пасмурное выраженіе его лица уже вполнѣ отвѣчало настроенію.

Еще через квартал он остановился закурить. Оттого-ли, что в табак замѣшалась шерстинка, ворсинка, пушинка, или поблизости жгли, — но ему явственно почувствовался запах жженнаго, а именно — жженой пеньки. И, как это часто бывает, случайный запах на секунду перенес его куда-то — Бог знает куда — в какой-то закоулок прошлаго — на запущенный московскій дворик, гдѣ он с ребятами лѣт двадцать тому назад выщипывал из сруба паклю, чтобы потом, сваляв ее с помощью клочка «Газеты-копѣйки» в папиросу, курить до дурноты, кашляя и отдуваясь, но ни на минуту не теряя увѣренности в своей мальчишеской привилегированности и важности совершаемаго. Между этим юным курильщиком и Валентином Егоровым лежали милліоны «жикологических» лѣт, и нельзя было осмыслить, что оба они — одно лицо, точно так же, как нельзя было представить себѣ другого, новаго Егорова, глядящаго на теперешняго через вторые милліоны лѣт. И однако нѣчто подобное — «странное» и «дикое» — шевельнулось в егоровском сознаніи.

Вѣроятно, как-раз послѣ этого (или непосредственно *перед* этим) он услышал визгливый, как-будто лающій скрип тормаза и безобразный грохот сталкивающихся машин. Вслѣд за тѣм из-за угла донесся тягучій вопль. . . Спичка потухла. Проходившая мимо особа в черной вязаной перелинкѣ и с сѣточкой для продуктов — пошатнулась, кашлянула и едва не упала.

Автобусы заскользили плавно, словно по льду, неслышно загудѣли такси, и красный, говорливый мясник лишь как рыба раскрыл рот и глотнул воздух: вопль покрыл и уличный шум, и все вообще, чѣм может жить человѣк. Егоров и не подозрѣвал, что есть в мірѣ такой крик — *не* звѣриный — *человѣческій*, от котораго становится душно и так странно сжимается, точно падает куда-то сердце. Через минуту все опять задышало, загромыхало, засуетилось. Словно из-под земли выросли бѣгущіе во весь дух ребятишки; сломя голову помчались, подбирая юбки, степенныя лавочницы и консьержки; тревожно проталкивались к углу обыкновенные прохожіе. Молодого человѣка чуть не сбил с ног подмастерье из парихмахерской — бѣлый, как его запачканный халат, и с выпученными глазами, — открывшееся ему зрѣлище, видимо, было увлекательнѣй разговоров о смѣнѣ кабинета и об очередном убійствѣ. Народу скопилось множество. Посреди улицы за углом стоял физическій виновник катастрофы — сановитый и угрюмый Рольс-Ройс; возлѣ него пожилой господин в котелкѣ и бѣлых перчатках давал показанія полицейским, он был взволнованно, нарочито небрежен. Немного поодаль лежала на сломанной оси другая машина — такси — вся измятая и словно обрызганная осколками стекла, причудливо уткнувшись радіатором в панель. На подножкѣ алѣла лужица крови. Когда подошел и Егоров, из-за руля уже выволакивали раздавленнаго, — какого-то закопченнаго, скользкаго и эластичнаго человѣка, как будто наполненнаго жидкостью. Потом его неловко — мѣшком — понесли, при чем он все выскальзывал, а лѣвая рука волочилась по мостовой. Во время посадки

на автомобиль скорой помощи судорога свела его губы в ни с чѣм не сообразную, дьявольскую усмѣшку, обнажив щербатый рот, — и тогда Егоров узнал в нем своего, потеряннаго в эмиграціи, сослуживца, — Федора Иванчука.

Открытіе было до того уродливо, до того не похоже на правду, что молодой человѣк как встал на подножку мебельнаго фургона, чтобы лучше видѣть, так и продолжал стоять, повторяя рукой отстраняющій жест, даже когда толпа отхлынула и автомобиль скорой помощи скрылся из виду. Если-бы в тѣ минуты его спросили — что с ним? — он просто и чистосердечно отвѣтил-бы: «мнѣ жаль Иванчука», — а между тѣм это «жаль» своим «остріем», своей болью было обращено не на чужую судьбу, а на его собственную, и хотя исковерканное судорогой лицо сослуживца все еще плыло между скученными шляпами и пиджаками, колеблемое и точно подгоняемое вѣтром, — не оно было объектом егоровскаго вниманія. Он «забыл», что Иванчук никогда не был его другом и для него — в нем — никогда не жил, т. е., что покойнаго и вообще какъ-бы не было. В головѣ молодого человѣка происходила странная и мучительная пертурбація: смерть из явленія «научнаго», «мертваго» превращалась в нѣчто совсѣм *живое*, которое «билось» гдѣ-то в собственном его сердцѣ, и ему было страшно жить в этой близости к смерти и *совѣстно*, что остались не раскрытыми, не пережитыми им Егоровым — годы, приведшіе Иванчука к катастрофѣ, — как-будто можно было ее предугадать, как-будто смерть одного человѣка лишала других права на жизнь. Он напряженно вспоминал: может быть в прошлом его сослуживца, в каком-нибудь пустяковом

случаѣ, даже простом словѣ, или жестѣ, заключалось указаніе, с помощью котораго оказалось-бы возможным уразумѣть катастрофу, т. е. связать ее с его собственной — егоровской — жизнью. Но прошлое не открывалось. Вмѣсто живого Иванчука ему почему-то представлялась давнишняя фотографія с посвященіем. — «Другу и пріятелю Егорову», — уже в 1920 г. запрятанная в трухлявую пачку крымских документов. Иванчук на ней — в «тонной» матросской форменкѣ, из-под фуражки с георгіевской ленточкой выбивается и сползает на ухо курчавая прядь волос, лицо — румяное, скуластое — надменно, усмѣшливо морщится, обнаруживая, что два ззуба кѣмъ-то выбиты, глаза — с поволокой. Кромѣ этой неподвижной фотографіи тускло, мертвенно освѣщалась в памяти предэвакуаціонная кубричная вольница с константинопольским спиртом, с болтовней о портовых притонах, о «дѣвочках», с «бурным» ощущеніем молодости и распоясывающим, невидимым присутствіем там-же под рукой не похожей на теперешнюю — «бѣлой» смерти. Все это было не то. Временами ему казалось что и то и это — лишь прелюдія к невиданной и страшной катастрофѣ; все какбы ввергалось в кромѣшный хаос; и он чувствовал на себѣ излученія какой-то отталкивающе-нѣжной, «лиловой» улыбки.

— Помер что-ли? — спросила простоватая женщина высокаго, плотнаго человѣка.

— А мнѣ-то что? — отвѣтил тот, глядя почему-то на Егорова, и затѣм, медленно переведя взгляд на женщину, раздраженно добавил: — Пошли, пошли домой! — чего стоишь?!

Егоров тихо подошел к полицейскому и попросил

адрес госпиталя. Потом он долго шагал по направленію к дому, боясь обернуться и вздрагивая от чужого прикосновенія, в полной увѣренности, что идет в госпиталь...

Толпа понемногу таяла. Гнѣвные возгласы уступали мѣсто обыкновенной миролюбивой болтовнѣ. Улица торопливо, с нескрываемой радостью одѣвалась в свои обычные цвѣта, напитывалась прежними запахами и шумами. Протокол был уже составлен и «эпизод» — исчерпан. И только с открытки, прикрѣпленной к стеклу незадачливаго «Ройса», безутѣшно, виновато и жалко глядѣла на ротозѣев — нѣжно-голубая Мадонна.

Борис Закович.

I

Не надо говорить усталому о том,
Что Бог вознаградит за слезы без отвѣта.
Не лучше ли уснуть, не лучше ли, потом
Не видѣть никому не нужнаго разсвѣта?
. . . .
Я многое узнал, когда пришла зима
И снѣг покрыл людей, деревья и дома.

II

Увы, не испытали вы
Ночного холода Невы
И Рима холода дневного.

На водах Тибра и Невы
Вѣс камня, времени и слова
Увы, не испытали вы.

О, главы знанія ночного,
О, статуй пыльныя главы —
Вѣс камня, времени и слова,

О, воды Тибра и Невы —
Невозвращаемыя снова,
Невозвратимыя, увы!

БЬЕТ ПОЛНОЧЬ...

I

Бьет полночь близко на часах лицея.
За стройною рѣшеткой дышет сад.
Прекрасен фонарей волшебный ряд.
Под мирным небом сердце цѣпенѣет.

Вот этот звук — в симфоніи міров,
Безжалостной — вовѣк не повторится:
Здѣсь шел поэт по улицам столицы,
(Затерянный, как пес среди снѣгов...)

Он шел, не в силах с Богом примириться,
И одинокій стук его шагов
О бремени свидѣтельствовал — снов,
Которым никогда не воплотиться.

II

Вот в такія минуты совершаются темныя вещи,
И простор поднебесный вдруг тѣснѣй подземелья крота.
Всѣ слова безнадежнѣй, всѣ обиды старинныя рѣзче,
И вокруг человѣка величаво растет пустота.

Закричать? Но кричать лишь в театриках бѣдных
кварталов.
Убѣжать? Но — куда? Да и как от себя убѣжишь?
День, не хуже других — бывших, будущих иль
небывалых,
И вокруг — неизмѣнный, равнодушно-веселый Париж.

Ант. Ладинскій.

ПО НЕБУ ПОЛУНОЧИ...

I

Все та же скука міра —
Пустая мишура,
И холодок эфира
На кончикѣ пера.

Скучны земныя дѣвы
Под музыку балов,
И райскіе напѣвы
Для них невнятный зов.

И только бѣлый парус
На морѣ голубом...

И только первый ярус
В театрѣ городском...

Все холоднѣй и строже
Над скукой мiровой
Сiяли в черной ложѣ
Глаза Лопухиной.

II

Кто знает — житель рая —
О чем в полночный час
Он думал, не смыкая
Над рукописью глаз,

Когда сквозь сон кричали
В аулах пѣтухи
И в Пятигорскѣ спали
Средь сонной чепухи.

Спасибо вам средь тѣсных
Ущелiй за намек,
За нѣсколько небесных
И непонятных строк,

Которых в буднях мiра
Нельзя читать без слез:
Как ангел из эфира
В объятьях душу нес,

Как средь земного бала
У чернаго окна
Томилась и вздыхала
И плакала она...

Ю. Мандельштам.

С дѣтства я любил мечтанья,
Тишину и дрожь предчувствій,
Оттого я много вѣрил
И отчаивался много.

Я искал на небѣ отблеск
Незаслуженнаго счастья,
И оно меня томило
Слаще лѣтних сновидѣній.

Иногда в молчаньи полдня,
Иногда в мерцаньи ночи,
В шумѣ сосен или моря,
В тишинѣ полей звенящих,
В бѣлизнѣ снѣгов альпійских
Неожиданно мелькало
Обѣщаніе блаженства.

Иногда в простой бесѣдѣ,
Иногда в хмельном весельи,

Иногда в объятьях женщин,
Иногда в стихах поэтов
Что-то сердцу открывалось
На короткое мгновенье.

Но альпійскія вершины
Застилались облаками,
Сосны жалобно стонали,
От вина хотѣлось плакать,
Рифмы падали на сердце
Тяжелѣй камней могильных.

А тревожное хотѣнье,
Именуемое страстью,
Доводило до безумья,
До безумных просвѣтлѣній.
Только сердца замирало
Не надеждою, а болью.

И я боль избрал судьбою,
Полюбил ее безмѣрно,
Свыше мѣры ей повѣрил,
Называл ее любовью,
Со слезами ей молился.

Но текли без вѣры слезы,
Ничего не разрѣшая,
И все дальше уходило
Незаслуженное счастье.

Я тогда возненавидѣл
Безысходное мученье,

И себя проклятью предал
За отчаянье и лживость,
И закрыл лицо руками,
И в отчаяньи заплакал...

И тогда меня коснулось
Незаслуженное счастье.

Виктор Мамченко.

Цвѣты отцвѣтают, не надо иллюзій,
Недѣтское время бродить по полям,
Недѣтской тревогой о загнанной музѣ,
Срываясь за вѣтром, шумят тополя.
Не надо тоски, этой ломкой надежды, —
Вѣдь тѣло привыкнет навѣки хотѣть —
До солнца тянутся, без всякой одежды,
Навѣки Икаром крылатым горѣть.
Не надо иллюзій и правды не надо, —
Правдивое стало как спутанный бред,
И только вот сердце, как будто, не радо
Опять не казаться огромным в добрѣ.
Огромным, как море — сквозь ночи и холод, —
Оно, наконец, заблудилось в крови,
Теперь под рукою, как медленный молот,
Ударом послѣдним упасть норовит.

Ну, что-же, крылатый... Печальная птица
Безкрыло прижалась к холодной землѣ...
Вѣдь тѣло привыкнет над кротостью биться,
В потугѣ безсмертья метаться и млѣть.

Софія Прегель.

Я знала в тучѣ ширится гроза,
Она дождём должна пролиться скоро.
Пугливая сосѣдская коза
Топталась у невзрачнаго забора.

Миндальной вѣтки нѣжное крыло
Под вѣтром шевелилось, покрывая
Цвѣтами землю, и земля живая,
Как женщина вздохнула тяжело.

Георгій Раевскій.

I

Юношѣ — горячій конь,
Знамя, слава и огонь.
Но достойнѣй встрѣтить мужу
Грудью — ледяную стужу.

Не широкіе орлы
С гордым клёкотом над нами, —
Вѣтер средь растущей мглы
Рѣзкими летит кругами.

В мірѣ нѣт такой стѣны,
Что-б укрыла за собою,
В мірѣ нѣт такой страны,
Гдѣ к прозрачному покою

Мы вернуться-бы могли.
Трудно вырастают всходы
Той дорогой, гдѣ прошли
Эти каменные годы.

Средь тяжелых скал одна,
Все сильнѣй и непокорнѣй,
Медленно растет сосна,
Укрѣпляя в бурю корни.

II

Холодный, свѣтлый круг на мостовой
И фонаря негромкое гудѣнье. . .
Чудак печальный улицей пустой
Бредет и разговаривает с тѣнью.

Что-ж дѣлать человѣку одному?
Так легче, все-таки. Протянешь руку:
Внизу другая — длинная — во тьму
Протянется; прислушаешься к звуку

Своих шагов: глянь, кончился квартал.
А там уж парк: огромные каштаны,
Их куполов торжественный овал
На темном фонѣ, звѣздном и туманном.

Юрій Софіев.

I

Что же дѣлать? — в общем, это так!
Мы старѣем. Жизнь проходит мимо.
Побѣждает жизнь любой дурак,
А для нас вдвоем — необорима!

Это значит... Значит, милый друг,
Что уже не за горами вечер.
Значит, кромѣ загрубѣлых рук,
В этой жизни хвастаться мнѣ нечѣм.

Боже мой, за то какую грусть
Мы проносим, всё ей озаряя.
Может-быть, печалясь, наизусть,
Кто нибудь, ее и повторяет.

II

В. М. Зензинову.

О, сколько раз за утлою кормой
Вскипали волны, вѣтры рвали флаги;
Звучали рельсы, музыкой стальной,
Звучало сердце вѣрой и отвагой.

Сквозь кровь, сквозь годы, страны и усталость
Чередовались радость и бѣда.
Покоя сердце никогда не знало
Покоя не искало никогда! . .

И я любил и ненавидѣл много,
И я дышал отвагой и борьбой —
Прекрасный мір ложился предо мной
Неровною и трудною дорогой.

И как нетерпѣливо я искал
По братски мнѣ протянутую руку,
Но руки тѣ, которыя я жал
Сулили только вѣчную разлуку.

П. Ставров.

I

Слѣпой переулок. Слѣпой огонек.
Четырнадцать вдоль — и пять поперек.

Пустынное небо под такт шагов —
Как черная пѣсня без всяких слов.

Прохожій чудак под цвѣтистым кольцом
Встрѣчает чужим, не своим лицом.

— Ей, ей, до зари куда идти?
Ей, ей, уголка веселѣй не найти.

Знакомый, большой и нестрашный дом
За темным, пустым, перебитым стеклом.

Слѣпой переулок — нестрашный — лег.
Четырнадцать вдоль и пять поперек.

II

Все на мѣстах. И ничего не надо.
Дождя недавняго прохлада,
Немного стѣн, немного сада...

Но дрогнет сонная струна
В затишьи обморочно-сонном,
Но дрогнет, поплывет — в огромном.
Неутолимом и бездонном...
И хоть бы раз в минуту ту
Раскрыв глаза, хватая пустоту,
Не позабыть, не растеряться,
Остановить,
И говорить, и задыхаться...

III

Может быть
по снѣгу, в изступленьи
быстрый бѣг в проталинах полей
И послѣднее из считанных мгновеній
вѣрной гибели моей.

Может быть, — как миг, воспоминаніе,
жаркій вздох и жадность до конца,
И свѣтлѣй холодное сіяніе
блѣдных звѣзд у мертваго лица.

Может быть
труднѣе бѣг и тише,
свист, — дыханіе и окровавлен рот,
что ни шаг — огромнѣе и выше
мой послѣдній небосвод.

IV

Еще понятны и легки
Слова, упавшія не в срок,
Вдали мелькнувшій огонек,
Тепло мгновенное руки.

Еще — надѣйся и умножь
Внезапно вспыхнувшую дрожь.
И на лучах от фонаря
Еще отвѣтная заря
Закату нѣжному вѣрна,

Но рядом — пѣнясь исчерна,
Над глуховатой темнотою,
Но рядом, за морской чертою,
За плеском плеск, за взлетом взлет
Ведут нездѣшней скукѣ счет.

Ю. Терапіано.

Лидіи Червинской.

1

На рынок выхожу цвѣточный.
Прохладой вѣет от сырой земли,
И образ счастья, хрупкій и неточный,
Безсмысленно рисуется вдали.

Мнѣ на цвѣты смотрѣть невыносимо:
Их любишь ты, их ненавижу я —
За красоту, за власть неотразимо
Небытіем сіять средь бытія.

2

Быть может, в старости увидишь ты закат
И вспомнишь тѣсное, чужое небо,

Каштаны вдоль бульваров, зимній сад,
Глоток воды, сухую корку хлѣба,

Любовь, которой не было всерьез
(— Изгнанника печальныя примѣты), —
И вдруг, — как дождь, как милліоны роз,
Как чудо роз святой Елизаветы...

3

Каким скупым и безнадежным свѣтом
Отмѣчены гонимые судьбой,
Непризнанные критикой поэты,
Как Анненскій, поэт любимый мой.

О, сколько раз в молчаньи скучной ночи
Смотрѣл он, тот, который лучше всѣх,
На рукопись, на ряд ненужных строчек,
Без вѣры, без надежды на успѣх.

Мнѣ так мучительно читать с какою
Любезностью — иль сам он был во снѣ —
И беззаконно славил как героя
Баяна, — что гремѣл по всей странѣ

И называл поэзіей — чужія,
Пустыя сладкозвучныя слова...
И шел в свой парк... И с ним была Россія,
Донынѣ безутѣшная вдова.

1

Знаешь, горе, мнѣ с тобою
И привычнѣй и теплѣй.
Не мири меня с судьбою,
Не учи и не жалѣй.

Подожди со мной разсвѣта,
Проводи меня домой. . .
(Всетаки душа согрѣта
Болью о себѣ самой).

Странное начало лѣта. . .

Под густой листвой каштана
Зрѣют смуглые плоды,
От разсвѣтнаго тумана
Вѣет свѣжестью воды.

Кажется, что близко море,
Кажется, что счастье есть. . .
Ничего не нужно, горе,
Если все — печаль и лесть.

До конца. Плечем к плечу.
Ты поешь — а я молчу.

2

Я люблю: осеннія дороги
Под Парижем, в сумеречный час,
Оттого что, вѣрное, в тревогѣ
Сердце одиноко любит вас.

Я люблю старинные флаконы,
Кактусы, камины и ковры,
Оттого что, друг мой беззаконный,
Вы со мной нечаянно мудры.

И еще: цыганскіе мотивы,
Улицы, зимой, под Рождество,
Оттого что сердце терпѣливо
Любит вас и никого.

А весной могу читать Толстого,
Наблюдать за ростом синевы,
Сознавать, что сердце жить готово. . .

Лѣтом я всегда люблю другого,
Оттого что сердце: это вы.

3

А. Штейгеру.

Жизнь права, как будто. До свиданья.
Ухожу — не вѣдая куда.
Не хочу высокаго страданья,
Не хочу веселаго труда.

Ухожу, и уношу с собою
Тишину деревьев за окном,
Небо — ночью странно голубое,
(Небо Ниццы). Память обо всем.
Вѣрность, возвращенную судьбою...

А Штейгер.

ПАМЯТЬ

1

Неужели навѣки врозь?
Сердце знает что да, навѣки...
Видит всё до конца насквозь.
... Но не каждый вѣдь скажет: «Брось,
Не надѣйся», — слѣпцу, калѣкѣ...

2

Перемѣна людей и мѣст
Не поможет. Напрасно бьешься.
Память — самый тяжелый крест...

(Под кладбищенским разогнёшься).

3

Всё об одном... На улицѣ, в бюро,
За книгой, за бесѣдой, на концертѣ...
И даже сны... И даже, (как старо!) —
Вот вензель чертит и сейчас перо...

(И так — до смерти). Да и послѣ смерти.

Неужели Сентябрь? Неужели начнется опять
Эта терпкая грусть, и дожди, и на улицѣ слякоть...
Вечера без огня, (— вѣдь нельзя постояно читать)...

Неужели опять, чуть стемнѣло, ничком на кровать
Чтобы больше не думать, не слышать и вдруг не за-
плакать...

Не до стихов... Здѣсь больше слёз, чѣм роз
В несчастном и безумном мірѣ этом.
Здѣсь круглый год стоградусный мороз
Зимою, осенью, весною, лѣтом...

Здѣсь должен прозой говорить всерьёз
Тот, кто дерзнул себя назвать поэтом...

I. «ВОЗВРАЩЕНІЕ ИЗЪ РОССІИ».

О книгѣ Жида говорили до ея выхода, и люди, посвященные в тайны, с улыбкой утверждали, что нам, русским эмигрантам, она будет пріятной. Послѣ ея выхода и всего поднятаго ею шума нерѣдко нас спрашивают: «ну что же, вы довольны?» Надо сказать правду, мы не можем быть довольны: то, что Андрэ Жид нам сообщает, если полностью ему вѣрить, так грустно и так трагично для каждаго русскаго, как ни одно другое свидѣтельство о теперешней Россіи. Мы долгіе годы жили надеждой, будто совѣтская власть перестраивает Россію на свой, нам отвратительный лад, но будто живая подсовѣтская Россія молчаливо и стойко ей сопротивляется и, вопреки большевикам, духовно как-то сохранилась. Андрэ Жид, против своей воли, нашел у совѣтской власти всѣ тѣ отвратительные пороки, которые и мы ей приписывали, однако русскій народ кажется ему послушно и безоговорочно пріемлющим власть.

Вся Россія, от верхов до низов, живет, по его наблюденіям, в атмосферѣ революціоннаго благополучія: никаких сомнѣній в себѣ, за-границей еще хуже, ни малѣйшаго желанія что-либо у себя измѣнить. Когда-то Жид увѣровал в коммунизм, оттолкнувшись от буржуазной Европы, от ея лицемѣрной морали, от жестокаго соціальнаго неравенства. В коммунизмѣ он искал

не только братство и теплоту, но и духовное безстрашіе и честность — этого он в совѣтской Россіи не увидал, и неожиданно его потянуло назад, в свободную Францію, ему пришлось оцѣнить то, чего он раньше не цѣнил, остатки гуманизма в либеральной части Европы.

О книгѣ Жида написано много, ее, дѣйствительно, в своих цѣлях использовали, как он того и боялся, реакціонеры, хотя каждое его обвиненіе примѣнимо и к ним. Русским критикам его книги представилось (или естественно захотѣлось, чтобы так именно было), им представилось, будто Жид восхищен всѣм русским и разочарован во всем совѣтском. Но это глубоко невѣрно: Жид нигдѣ не отдѣляет Россіи от совѣтчины. Если что-либо ему нравится — дѣти, заботы о них, рабочіе клубы — то нравится ему и дѣятельность в этом направленіи большевистской власти, и тѣ, кого большевистская власть так дѣятельно опекает. Если что-либо для него невыносимо — самодовольство, равнодушное единогласіе — то и здѣсь явно сливаются требованія власти и покорность народа. Единственное разграниченіе, которое он упрямо проводит — совѣтской власти, Сталина, с одной стороны, коммунистическаго идеала, с другой. Невоплощенному этому идеалу он хочет остаться вѣрным.

К его книгѣ можно подходить с двух разных концов: в ней есть «загадка Жида» и есть «загадка Россіи». Первая тема неистощима, запутана и нас Бог знает куда заведет, но кратко надо разобраться и в ней, чтобы понять, попытаться разрѣшить вторую, для нас теперь столь отвѣтственно-важную. Всякому внимательному читателю послѣ любой книги Жида ясно, что его стремленіе шире, чѣм написать «высокохудожественное произведеніе», что он бьется над основным Толстовским вопросом, так хорошо у Толстого выраженным: «Что же нам дѣлать». И сразу очевидно огромное между ними различіе: Толстой, ставя этот вопрос, как бы отказывается от своего прошлаго, от «Войны и Міра», от

всего своего писательскаго призванія. Говорит тот же человѣк, который написал «Войну и Мір», но говорит аскетически просто и сурово, без малѣйшей художнической позы, избѣгая примѣнять свое дарованіе, напротив, его почти убивая. Жид ни одной секунды не перестает быть артистом (несравнимо меньшим и болѣе слабым, чѣм Толстой), и в его поисках правды нужно учитывать эту неискоренимую артистическую позу, долю воображенія, мысль о впечатлѣніи, вѣроятнаго читателя, от тѣни котораго Жиду никак не избавиться. Даже интеллектуальная честность «Возвращенія из Россіи», буквально всѣми критиками подчеркнутая, иногда смутно-подозрительна: так, казалось бы, разочарованіе Жида в совѣтском укладѣ, послѣ предшествовавших «immenses espoirs», должно было его довести до предѣльнаго отчаянія, но вся книга выдержана в объективно-спокойном тонѣ. Видимо, артист побѣдил человѣка, любознательный наблюдатель — измученнаго «поборника правды». Вѣдь не мог же он в нѣсколько мѣсяцев преодолѣть свою горечь и так стройно-изящно увидѣнное передать. И как хватило у него сил написать бодрыя строки, что «С.С.С.Р. не перестает нас поучать и удивлять» — по поводу вмѣшательства большевиков в испанскія событія — когда такой праведный гнѣв у него вызвали совѣтское лицемѣріе и совѣтское рабство. Толстой бы навѣрно этого не простил за вмѣшательство в испанскія дѣла. Не буду, однако, преуменьшать безупречной искренности Жида — у каждаго свои возможности, и никому через них не прорваться — но думаю, что стройность, цѣльность всего описаннаго в его книгѣ, печальное тождество большевизма и Россіи, отчасти есть композиціонная, артистическая цѣльность. Иначе он поразился бы собственной своей непослѣдовательности: его в то же время восхищает братская теплота русской толпы, отдѣльных русских людей, и отталкивает сухое их безсердечіе к бѣднякам, причем он меланхолически замѣчает: «это происходит из-за того, что власть запретила частную благотворительность». Мнѣ кажется, многое стало бы

понятным в совѣтск. быту, если бы точно себѣ уяснить, насколько вяжется характер русскаго человѣка, русскаго народа, с обликом и задачами большевистской власти. Только это и заставляет большевиков усиливать террор, несмотря на восемнадцать лѣт диктатуры и внѣшнюю прочность ея организацiи.

Разумѣется, одной «композицiонной стройностью» ошибку Жида нельзя объяснить. К ней его привела, как ни странно, крайняя довѣрчивость. Подобно стольким другим туристам, он повѣрил всему, что услышал, вопреки скептическим оговоркам умнаго человѣка, постоянно в книгѣ приводимым. Тут повторяется неизмѣнное и жалкое явленiе: лѣвые туристы вѣрят всему, что им показывают в совѣтской Россiи, правые не вѣрят ничему. Но в противоположность остальным лѣвым туристам Жид показаннаго, разсказаннаго ему не одобрил. Он, дѣйствительно, повѣрил, что каждый совѣтскiй гражданин ждет предписанiй из Москвы для выработки своих мнѣнiй по каждому вопросу, что любой писатель горячо привѣтствует «генеральную линiю», что тайной, внутренней оппозицiи нѣт, что нѣт и критики, что никого не задѣвает возростающее соцiальное неравенство, что молодежь стремится лишь к дозволенной «марксистской культурѣ». Он забыл, что часть услышаннаго им говорилась «не за совѣсть, а за страх». Откуда иначе разстрѣлы, переполненiе тюрем и лагерей гепеу. Все то, что Жиду сообщалось, он принял за чистую монету и приписал пресловутой пассивности русскаго народа. По его убѣжденiю, народ раздѣляет измѣнчивыя стремленiя власти, все болѣе антигуманистической, и, вмѣстѣ с большевиками, он осуждает и русскiй народ во имя того, что «выше меня и Россiи», во имя «человѣчества, культуры». Оттого для нас неимовѣрно-печальна книга Жида. Мы отсюда, издалека, ничего не видим и не знаем, невольно набрасываемся на всякое чужое свидѣтельство и можем в отвѣт, увы, лишь эмоцiонально возражать: нѣтъ, мы чувствуем, что это не так и до такой степени русскiй человѣк не

успѣл переродиться, мы лучше понимаем его, чѣм самые проницательные иностранцы. Но, конечно, они будут упорно настаивать на своем.

Разочаровавшись в Россіи, Жид не измѣнил своему коммунистическому идеалу. Но, в сущности, нас интересовала не «идея», а самый «стиль жизни», и худшія наши опасенія о стилѣ совѣтской жизни Андрэ Жид полностью подтверждает. Ничто его так не поразило, как свойства, давно нам извѣстныя, извѣстныя также большевикам и названныя ими по своему—«подхалимство», «головокруженіе от успѣхов» — свойства, иногда непріятныя властям и все-таки ими поощряемыя. Жид предполагает, что в замкнутости, оторванности от міра, в большевистском самодовольствѣ — разгадка относительнаго счастья совѣтских людей: «Leur bonheur est fait d'espérance, de confiance et d'ignorance». Он подымает вопрос о «слѣпом счастьи» ограниченных людей и этого счастья не признает и не хочет. Ему дороги старинные гуманистическіе принципы, которым должен противиться всякій правовѣрный марксист — что без выбора, отбора, свободы, без чьей-то борьбы «против теченія» нѣт ни прогресса, ни культуры, ни творчества.

II. УМИРАНІЕ ИСКУССТВА.

(По поводу книги В. Вейдле:
«Les Abeilles d'Aristée»).

Книга русскаго критика о положеніи современнаго искусства, о явном неблагополучіи в нем, о его надвигающейся гибели, книга, насыщенная опытом и знаніями, продуманная, выстраданная автором, к сожалѣнію, не могла выйти по русски, и приходится о ней судить

по французскому переводу, правда, безупречному. Глубокій ея пессимизм, несомнѣнно, раздѣляется рядом писателей и дѣятелей искусства, симптоматичен для нашего времени, и мнѣ кажется, ея содержаніе необходимо подробно изложить.

Автор в ней разбирает всѣ виды современнаго искусства, начиная с самаго из них показательнаго — романа — и пытается установить, как происходила их эволюція за послѣднія полтора или два столѣтія. По его словам, основной порок теперешняго романа и всѣх других родов искусства — паденіе творческой фантазіи, ея замѣна то жизненным документом, то формальной изощренностью, иногда скучной поддѣлкой под классическій роман, нерѣдко «монтажем», особенно в американской и совѣтской литературѣ.

Автор приводит множество примѣров этой замѣны. Так, по его убѣжденію, наиболѣе замѣчательный из романистов двадцатаго вѣка, Марсель Пруст, в огромной своей эпопеѣ, наряду с чисто-художественным вымыслом, передает эпизоды и душевныя состоянія, черезчур біографическія, документированно-точныя, не преображенныя вдохновенной писательской волей. Слишком пристальное вниманіе к своему «я» затемняет это самое «я», разлагает его на мельчайшіе составные элементы, послѣ чего творческій синтез уже невозможен. В результатѣ происходит разрыв между личностью творца и его творчеством, вытѣсненіе, подавленіе творчества личностью творца, невѣріе писателя в свое «Dichtung», нежизненность, условность персонажей.

Другой реформатор современнаго романа, Джемс Джойс, создает в «Улиссѣ» необычайно искусную, но вполнѣ произвольную схему. Сближаясь с сюрреалистами, он вводит в свой роман подобіе исповѣди, «автоматическую запись», порой неотразимо убѣдительную. Но у читателя непрерывно сохраняется впечатлѣніе механизаціи творческаго процесса, как и механизаціи

душевнаго міра Джойсовских героев. Такое же впечатлѣніе возникает при чтеніи многих произведеній Пиранделло, Андрея Бѣлаго, Вирджиніи Вульф. Гораздо болѣе живой и жизненный писатель, Герман Брох, постепенно и как бы вынужденно переходит в своей трилогіи от классическаго романа к почти искусственному соединенію раздробленных отрывков, напоминающему опять-таки монтаж. У всѣх этих лучших современных писателей, по мнѣнію автора книги, одни и тѣ же печальныя свойства: ощущеніе безвыходности, какой-то творческой безкрылости и чувство оторванности среди чуждаго им, застывающаго, коснѣющаго міра.

Все же Вейдле считает блистательной удачей романы Пруста и менѣе яркой, но столь же безспорной — трилогію Броха. Только самый их путь представляется ему тупиком, а их побѣда — случайностью, чудом, которое едва ли повторится. Невольно хочется ему возразить, причем я сознаю оспоримость своего возраженія. Мнѣ кажется, способность «создавать міры» не исчезла, и всякое достиженіе, как бы мало их не было, это подтверждает. Напоминаю извѣстныя слова того же Пруста: «Le monde n'a pas été créé en une fois, mais aussi souvent qu'un artiste original est survenu». Значит он вѣрил в созданный им мір и в жизненность его персонажей. Без сомнѣнія, сочувственным читателям эта вѣра передалась, но, конечно, мір Пруста субъективнѣе «міров» Толстого и Флобера, рѣзче окрашен авторской личностью, создан как бы цѣликом по образу и подобію автора, что его не лишает художественной силы и убѣдительности. Еще мнѣ кажется, будто вся наша современность — это открытая смертельная борьба между живым человѣком и тѣм, что его поглощает, что убивает души, сознательно ихъ замѣняя механически-мыслящим, бездушным аппаратом. Преувеличенія бывают и с той и с другой стороны — чрезмѣрный автоматизм героев Пиранделло и Джойса, гипертрофія душевности (а не «холодный анализ») у Пруста — и в процессѣ борьбы такія преувеличенія законны.

Разбирая по-очереди всѣ остальныя искусства — поэзію, музыку, живопись, архитектуру — Вейдле и в них находит аналогичныя явленія. В поэзіи он раскрывает другой, худшій порок — устарѣлость, исчерпанность форм, строфы, структуры стиха. В періоды юности народов великіе поэты создавали общенародный язык, сейчас, в поисках освѣженія, они создают свой отдѣльный поэтическій язык, глубоко чуждый народной стихіи и ея не питающій. Оттого по разному безплодны произведенія эстетов, Парнасцев, даже «чистая поэзія» Маллармэ и Валери, предпочитающаго «vers calculés» тому, что он называет «vers donnés». Немногія исключенія, вродѣ Бодлэра — поэты, жертвующіе собой, переносящіе в поэзію всѣ живыя свои душевныя силы. Им суждено гибнуть в окружающем их мірѣ науки, политики, прогресса.

И в музыкѣ, по мнѣнію Вейдле, чрезмѣрная «человѣчность» уступает мѣсто безпросвѣтному формализму, стилизаціи, «механической музыкѣ», порой лишь забавляющей слушателей. Автору кажется парадоксом (и в этом он сам себѣ возражает) музыкальный расцвѣт девятнадцатаго вѣка.

Новѣйшія теченія в живописи — импрессіонизм, экспрессіонизм, кубизм — довольствуются частью вмѣсто цѣлаго и разлагают творческую ткань. Все живое постепенно ими изгоняется из живописи, художник презирает «портрет», не может творчески его преобразить, и с ним успѣшно конкурирует фотограф.

Безнадежно утерян тот «общій стиль» эпохи, который когда-то поддерживал искусство, не убивая индивидуальности творца. Утрату стиля, безстильное искусство, отвѣтственность каждаго только за себя автор называет «романтизмом» и считает его особенно губительным для архитектуры.

Механическій детерминизм, по словам Вейдле, есть основной принцип современной жизни, перешедшій в искусство и его все нагляднѣе подтачивающій изнутри

и извнѣ. Он сказался даже в композиціи — «всѣ ружья должны стрѣлять» — и такое утвержденіе заранѣе сковывает творческую свободу. Опасность этой несвободы, чрезмѣрной сознательности художника давно уже понята иными творческими людьми. Еще Китс выдвинул свое антираціональное «negative capacity», что было страстным призывам вернуть искусству его первоисточник — чудо, вымысел, миф. Но для этого необходимо религіозное, то-есть христіанское возрожденіе человѣчества. Автор предсказывает, что или вновь оживет христіанство или культура будет поглощена механической цивилизаціей.

По примѣру Китса, ищут выхода из тупика и нѣкоторые позднѣйшіе писатели. Одни возвращаются к темам дѣтства и наивной дѣтской фантазіи («Le Grand Meaulnes»), другіе изображают простую, неприхотливую жизнь (Гамсун, Рамюз), третьи обращаются к міру безсознательнаго (Кафка) и сами же его раціонализируют. Появились и замѣчательные христіанскіе писатели (Клодель, Дю-Бос, Моріак). К сожалѣнію, церковь, с ея бюрократической организаціей и мертвой обрядностью, на встрѣчу им не идет. Под угрозой гибели — и церковь, и вся наша культура.

Мнѣ кажется, в книгѣ Вейдле, достаточно правдивой и вѣрной, нѣсколько сгущены краски и односторонне указан метод спасенія. Дѣйствительно, в періоды дѣтства народов искусство было ближе, понятнѣе людям, «среднему человѣку», и долго сохранялась взаимная связь народной массы и творческой элиты. Теперь усложнилась жизнь и души так называемых «передовых людей», стал шире «écart» между ними и массами, и к этим усложнившимся душам, к этой неизбѣжной, внѣ «общаго стиля», отвѣтственности каждаго за себя, к этой нашей трагической взрослости должно приспособляться искусство.

А мы живем торжественно и трудно

. . . .

Но ни на что не промѣняем пышный
Гранитный город славы и бѣды
. . . .
И голос музы, еле слышный.

Да, конечно «еле слышный». Но от настойчивости творца зависит, чтобы он был несравнимо слышнѣе. Однако, автор «Гибели искусства» прав, утверждая, что люди искусства нерѣдко свое дѣло предают, подчиняясь механизируемой жизни и всей опустошенной и мертвой «дурной современности».

III. РАЗРОЗНЕННЫЯ МЫСЛИ.

В исторіи одна крайность неукоснительно вызывает другую, ей противоположную. Так, массовыя движенія воплощаются в героѣ, вождѣ, культ героя создает напряженное вниманіе к человѣку, обостреніе, гипертрофію индивидуализма. В дальнѣйшем возможно обратное. Один из примѣров такой послѣдовательности — французская революція, Наполеон, Байрон, Стендаль, романтическая школа, психологическій роман. Примѣр обратной послѣдовательности — конечно, грубо схематическій — Ницше, Шпенглер.

Быть-может, из Шекспировских монологов вышли «комментаріи» современнаго психологическаго романа.

Кто-то из французов когда-то сказал: теперь нельзя так писать, словно не было Толстого и Достоевскаго. В наше время эти слова надо повторить о Марселѣ Прустѣ.

В Джойсѣ соединеніе двух отрицательных свойств современной литературы — механически-душевнаго (психоанализ, сюрреализм) и механически-словеснаго (каламбуры, игра со словом).

Психологическій роман, психологизм в искусствѣ — потомок и преемник лирики. И тут и там — человѣк о себѣ, я и мір, кусок жизни, частица времени, минимум событій и внѣшняго драматизма. Происходя от лирики, психологическій роман нуждается в поэзіи и единственно ею спасается.

Ахматова, как ни один русскій поэт, близка западному психологизму двадцатых годов. У нея та же предѣльная честность и внутреннее безстрашіе, тѣ же напряженно-правдивыя формулы. Ея словесное новаторство всего очевиднѣе в умѣніи сочетать прилагательныя. И пожалуй самый ея паузник предвосхищает лирическую прозу.

Почти вся поэзія Ахматовой — как бы развитіе знаменитых Тютчевских строк:

Он мѣрит воздух мнѣ так бережно и скудно,
Не мѣрят так и лютому врагу...

Вѣчное расхожденіе: «тема», которой требуют критики, и «атмосфера», которую дает писатель.

Чрезмѣрная «конкретность», «антиметафизичность» многих из нас заставляет ненавидѣть не зло, а тѣх, кто его совершают.

Люди, распространяющіе вокруг себя атмосферу мягкой доброжелательности, не нуждаются в искусственном братствѣ. Напротив, его добиваются равнодушные, скупые эгоисты, с оттѣнком «соціальнаго раскаянія», однако бездѣйственно-вялаго.

В эмиграціи может возникнуть творческая новизна, которой не создадут нивеллированныя революціонныя массы. Но и эмигрантскій средній человѣк консервативно-неподвижен, как никакой другой. В нем даже нѣт интеллектуальнаго снобизма, сопутствующаго жизненной благоустроенности. Поэтому трагически-велико расхожденіе между эмиграціей и творческой ея верхушкой.

У писателей, появившихся в эмиграціи, нѣт «резонанса», опоры в родной им странѣ, и потому их имена «не звучат».

«Творческій человѣк» не должен приспособляться к тому, что побѣдило, а должен быть предтечей того, что побѣдит—в наше время готовиться к возстановленію свободы. Правда, теперь он — Андерсеновскій «гадкій утенок».

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПАСКАЛЯ.

Паскаль не может быть «настольной книгой». Настольная книга — это «спокойные» философы, хотя бы и самые безнадежные (Эпиктет, котораго так чтил сам Паскаль, Марк Аврелій). Это также поэты, хотя бы и самые страшные, самые тревожные. Конечно, Тютчев, или Бодлер — о том же, что и Паскаль, но они не только «взрывая, возмущают ключи», они сразу же «на бунтующее море льют примирительный елей». С поэтами можно жить постоянно — такова таинственная природа поэзіи. Но как держать на столѣ, дольше какого то времени, паскалевскія «Мысли»? Онѣ прожгут и стол и человѣка — не как огонь, а скорѣе как кислота, дѣйствующая медленно, но совершенно неотвратимо.

Но губительная кислота необходима и для исцѣленія. Паскаля нужно читать, вѣрнѣе невозможно не читать тому, кто раз его открыл. К Паскалю иногда тянет неудержимо — признак органической душевной потребности. Про многих ли великих писателей (и впрямь великих) можно сказать это. И тогда перечитываешь Паскаля, и с каждым разом все дольше тянется паскалевскій період», когда и живешь и думаешь не «по Паскалю», конечно, а внутренне с ним свѣряясь, не в силах забыть его голос, его убѣдительность. Это — опять таки явленіе органическое. «Я не только не имѣю права, я не в силах. . .»

Паскаля перечитываешь по разному, каждый раз по новому, и все же каждый раз узнавая его единственность. Иногда перечитываешь полностью, иногда — как попало, в любом, самом кратком изданіи. Безспорно, прочесть всего Паскаля слѣдует, да и просто очень интересно. Но не важно каждый раз читать его цѣликом. Нужно только снова услышать его тон, вдуматься в нѣсколько его мыслей — и процесс «прожиганія» начинается сам собой. «Je ne vois qu'infini par toutes les fenêtres» — написал Бодлер, как раз «перечитывая Паскаля». Кажется, лучше не скажешь.

И все таки Паскаль не только прожигает, но и утѣшает — если и не тѣм большим утѣшеніем, которое открылось ему самому, то хотя бы утѣшеніем ищущаго; через него он вѣдь тоже прошел. «Peu de chose nous console, parce que peu de chose nous afflige». И это несмотря на «мыслящій тростник, самый слабый во всей вселенной», несмотря на все отчаяніе, на предѣльный ужас, прорывающійся мѣстами. «C'est tout ce qu'ils ont pu inventer pour se consoler de tant de maux». Противорѣчіе? Может быть только кажущееся. Не утѣшает ли как то честное сознаніе безнадежности?

Впрочем, не всякой. Безнадежность, упоенная собою, Паскаля отталкивает безоговорочно, не меньше чѣм лживыя надежды. «Думают ли они обрадовать нас, утверждая, что наша душа — немного вѣтра и дыма, да еще говоря это гордым и довольным тоном. Развѣ это можно говорить радостно? И развѣ, наоборот, не слѣдует говорить об этом с печалью, как о самой печальной вещи на свѣтѣ?» Но безнадежность, вѣрнѣе безутѣшность смиренная и ищущая, дѣйствительно, порою дает утѣшеніе. «Безспорно, находиться в таком сомнѣніи — большое несчастье. Но по крайней мѣрѣ, будучи в нем, у нас есть необходимый долг — искать».

Не в том ли единственность тона Паскаля, тайна его власти над сердцем, что, найдя для себя, он остается для нас ищущим. Сознаемся честно, ничего не утѣшает меньше и не раздражает больше, чѣм навязыва-

ніе нам обязательнаго готоваго рѣшенія, являющагося результатом чужого опыта, не ставшаго нашим собственным. Даже Толстой иногда отталкивает именно этим. Паскаль нас никогда и никуда не тащит, он передает нам свой опыт в процессѣ исканія, так, как если бы сам еще не нашел. Он пытается открыть наши глаза на то, что сам увидѣл. Поэтому он так близок и дорог — не может не быть дорогим и близким, пока глаза не откроются и человѣк не сможет уже по иному читать Евангеліе. До тѣх пор Паскаль остается первой книгой — по мудрости и человѣчности, проникновенности и разумности, безкомпромиссному духовному порыву и безкомпромиссной земной честности.

Еще о тонѣ Паскаля. Он сам опредѣлил разницу между «esprit de géométrie» и «esprit de finesse»: «чувство принадлежит сужденію, так же как науки — разуму». Finesse — «удѣл сужденія, как геометрія — удѣл разума». Сам Паскаль обладал «esprit de géométrie» в высшей степени; трудно представить себѣ писателя менѣе внѣшне «импрессіонистическаго». Его мысли—аксіомы, постулаты, слѣдствія. Но служить разуму он не пожелал. «Esprit de géométrie» он отдал на служеніе «esprit de finesse», зная, что только послѣдній обладает хотя бы ключем к истинѣ, если не самой истиной. «Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher»... «Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas; on le sent en mille manières.» Как часто цитируются эти слова, и как они все таки безошибочно дѣйствуют. Опошлить их невозможно, так они глубоко и непререкаемо вѣрны. Человѣку, сказавшему их так, как сказал Паскаль — трудно не вѣрить. А вѣдь Паскаль не только сказал, он все время подчиняется прежде всего доводам сердца, (как вяло звучит перевод!), он все время исходит из сердца, как бы точна ни была его логика. Обмануться нельзя: «On le sent en mille manières.»

Составитель извѣстнаго Пор-Руаялевскаго предисловія, вѣрный янсенист, опасающійся паскалевской человѣчности, явно не до конца ей довѣряющій, внушает нам, что в сущности своей Паскаль эту человѣчность преодолѣл, приняв католическую догму. Пользуется же он в «Мыслях» человѣческой нотой, как пріемом, лучше и вѣрнѣе всего убѣждающим. «Нужно предполагать, что послѣ этого читатель легко примет всѣ доказательства, им приводимыя». Так ли это на самом дѣлѣ? Не ошибается ли ревностный янсенист — далеко не такой ревностный, как в своем «откровеніи» Паскаль? И послѣ своего обращенія Паскаль остался несомнѣнно ищущим. Это — тоже лишь кажущійся парадокс. «Ты бы не искал, если бы уже не нашел» — читаем мы в «Мыслях». Таким образом послѣ «нахожденія» только начинаются настоящіе поиски. И ведет тогда человѣка по прежнему только его живое сердце. «Обычно мы лучше убѣждаемся доводами, найденными нами, чѣм тѣми, которые пришли в ум другим». Без своего переживанія любая догма для Паскаля мертва и ненужна. Об этом он говорит постоянно, иногда с опредѣленной и злой froніей. «Многіе люди слушают проповѣди так же, как и обѣдню». Сам Паскаль меньше всего проповѣдует. Надо не обучать других (instruire), а воспламенять (échauffer). Достаточно прочесть его «Бесѣду с господином де Саси», янсенистким аббатом, чтобы понять разницу между ними. Де Саси именно обучает, Паскаль знает цѣну всякой наукѣ, де Саси говорит о богословіи, Паскаль — о сердцѣ человѣка. Да и самая запись, его обращенія вряд ли удовлетворила бы де Саси. «От половины одиннадцатаго до половины перваго. Огонь... Увѣренность. Увѣренность. Чувство. Радость. Мир... Радость, радость, радость, слезы радости». Развѣ не понятно, почему де Саси считал Паскаля опасным?

Простого и окончательнаго разрѣшенія обращеніе Паскалю не дало. «Христіанство странно» — записывает он. Трагедія не окончилась от того, что Паскаль

увѣровал. Она приняла лишь другія, болѣе страшныя формы. Да и как могло быть иначе. Вѣдь пришел он к вѣрѣ не спокойно, а в болѣзненной борьбѣ и сомнѣніях. Вспомним его «пари» о котором он так автобіографически говорит в «Мыслях.» Вѣдь вопрос о безсмертіи рѣшался им почти «на орла или рѣшку». Держа пари, честно и по совѣсти, он отнюдь не шел на вѣрный выигрыш. Для себя он выиграл, но вѣдь рисковал и проиграть. Как же он может увѣрять других в несомнѣнности выигрыша, в отсутствіи риска? Да и в его «обращеніи» что то от этого пари навсегда осталось. Если «такое» могло случиться, то даже при положительном отвѣтѣ ясно, что не все в мірѣ метафизически благополучно.

«Отвѣт» не уничтожает всего того, с чѣм пришлось Паскалю столкнуться в поисках его. Не уничтожает страха и мучительности, а только измѣняет их, но оставляя и страшными и мучительными. «Pascal avait son gouffre»... Еще бы. Развѣ не страшно читать его восклицаніе уже послѣ обращенія: «Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie.» Все остается вѣрным. Найденная правда не опровергает, не отмѣняет первой, земной правды. Опять парадокс? Возможно. Но Паскаль на этом настаивает, упорно к этому возвращается. «Человѣк не ангел и не животное, но кто хочет стать ангелом, становится животным...» «Значительность человѣка не в том, чтобы найти край, но в том, чтобы достигнуть одновременно обоих краев, заполнив все, что между ними...» «Всякая вещь правдива с одной стороны и лжива с другой.» Полной правды человѣк достигает лишь зная об обѣих сторонах, о двух правдах, из коих каждая настолько же правдива, как и другая. Значит безвыходность, порочный круг? Да, конечно — и все же выход возможен. «Это — круг, и блажен тот, кто из него выйдет» — восклицает Паскаль с болью и пафосом. Очевидно, выхода он не отрицает. И вот еще о том же: «Несмотря на всѣ несчастья, которыя берут нас за горло, в нас есть ин-

стинкт, который мы не можем подавить и который нас возвышает.» Противорѣчіе полное, но «ни противорѣчіе не означает ложности, ни отсутствіе его не означает правды.»

Раціонально и логически и Паскаль не нашел выхода. Надо «обезумѣть» или даже «поглупѣть» (s'abêtir) — утверждает он. Что это значит, кажется, достаточно понятно: вѣдь не к глупости в буквальном смыслѣ призывает он. Но Паскаль и сам уточняет: «Всякое наше сужденіе сводится к тому, чтобы уступить чувству.» Только чувством, ирраціональным началом можем мы стремиться к выходу, ибо ирраціональна вся жизнь. Замѣчательный отрывок о снах (из котораго, кажется мнѣ, вышел весь сюрреализм) Паскаль заканчивает словами: «Ибо жизнь есть сон, только немного менѣе невещественнѣй.»

Всякіе подлинные поиски таким образом в каком то смыслѣ должны быть неразумными, инстинктивными. Цѣль, осознанная разумно, неизбѣжно искажена. Поэтому, самые поиски дороже и важнѣе нам, чѣм любая цѣль. «Мы никогда не ищем чего нибудь опредѣленнаго, а поисков этого опредѣленнаго. . .» «Мы искренне вѣрим, что стремимся к покою, но на самом дѣлѣ стремимся лишь к поискам. . . Из двух противоположных инстинктов в душѣ рождается смутное сознаніе, которое заставляет нас стремиться к покою через волненіе.» Обѣщаніе блаженства — несомнѣнное, но сколь неожиданное для ищущаго точнаго отвѣта, ясной цѣли, предложенных нам в готовом видѣ со стороны. Зато как удивительно совпадают эти слова с другим данным нам обѣщаніем:

А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой.

Все это, конечно, гораздо болѣе мучительно и неясно, чѣм то, чего ищешь обычно у «религіознаго мыслителя» или «учителя жизни». Это чувствуют всѣ толкователи Паскаля и находят этому объясненія в мане-

рѣ обращаться к читателю, в незаконченности и безпорядкѣ «Мыслей» (Паскаль, как извѣстно, умер, не доведя работы до конца, не придав ей окончательнаго порядка). И комментаторы по своему разъясняют, дополняют, распредѣляют Паскаля. Но за всѣми распредѣленіями и разъясненіями остается паскалевскій текст — волнующій, не учащій, а воспламеняющій. Ясности и разумной точности в нем не будет, как его ни толкуй и ни издавай. Но сердце чему то от Паскаля учится и какую то ясность обрѣтает. «Le coeur a ses raisons»... Тому же, кому Паскаль не скажет ничего «en mille manières», лучше просто не раскрывать его.

В. Вейдле.

ЧЕЛОВѢК ПРОТИВ ПИСАТЕЛЯ.

«Прежде всякой литературы меня интересует одно: я сам». И еще: «Литература интересует нас (т. е. писателей) лишь в связи с нашей собственной личностью, лишь в той мѣрѣ, в какой она может повлiять на нас.» Так писал лѣт двѣнадцать назад совсѣм еще молодой тогда французскiй писатель Марсель Арлан в статьѣ, многими замѣченной, гдѣ он старался поставить дiагноз новой «болѣзни вѣка», сам того не замѣчая, что она всего яснѣй сказалась в только что приведенных его словах. А между тѣм, стоит вслушаться в них, да еще в их глубокую тревогу, что явствует из их контекста, чтобы понять насколько они предполагают разрушительным всякое здоровое отношенiе между писателем и тѣм, что он пишет, между человѣком и творчеством. Если разлад проник сюда, в эту глубь, в самый узел, связывающiй жизнь с искусством, если он коснулся неотмѣнимых условiй литературнаго и всякаго вообще творчества, то гдѣ же еще, как не в нем, остается искать «болѣзни вѣка»? Нѣт болѣе тяжкаго недуга, чѣм разлад человѣка с его дѣлом, личности с естественным обнаруживанiем ея, немыслимым без жертвенной самоотдачи, без отреченiя от своей нетронутости и замкнутости. Отреченiем и жертвой именно и строится личность, безконечно перерастающая жалкое и жадное свое «я». Строится она в творчествѣ, и нежеланiе или неспособность отрекаться от своего, от-

давать себя приводит к ущербу творчества, к тому состоянію, которое наблюдается повсюду в современном мірѣ, гдѣ все чаще (ограничиваясь одной лишь художественной областью) мы становимся лицом к лицу то с человѣком без искусства, хотя и способным к нему, хотя и страстно по нем тоскующем, то с искусством без человѣка: голой игрой все болѣе отвлеченных, все болѣе ускользающих от смысла форм.

Всего болѣзненнѣй был почувствован и отчасти осознан трагическій разлад поколѣніем писателей, родившихся в девяностых годах прошлаго вѣка и в ранней молодости побывавших на войнѣ. Среди них всего сильнѣй испытали его англичане и французы, вѣроятно потому, что развоплощенность, личности, зажатой в верстак механической войны, им особенно трудно было совмѣстить с органическим члененіем и наслѣдственной сложностью двух самых древних, насыщенных и отягощенных преданіем литератур Европы. В Англіи такіе авторы, как Ольдингтон, Грэвс, Блэнден и во многом приближающійся к ним американец Гемингуэй, пишут романы и стихи, и пишут совсѣм не плохо, но так, что гдѣ-нибудь непремѣнно просквозит полная неубѣжденность в необходимости их писанія. Их книги живы поскольку в них живет память о пережитом и мученіе живого человѣка; но их личный опыт будучи единственным духовным содержаніем этих книг, слишком узок и одновременно слишком общ, чтобы переработать весь наличный матеріал и дать ему исчерпывающую форму. Этот опыт «я», единственнаго среди милліона ему подобных, совсѣм не то, что опыт личности, свободно развивающейся, цѣлостной и в то же время открытой міру. Он годен для проповѣди человѣколюбія, но не для той совсѣм иначе рождающейся любви к человѣку, без поторой нѣт подлиннаго творчества. По мѣрѣ того, как отходит вдаль страшный опыт, многіе годы их питавшій, писатели эти все болѣе чувствуют себя потерянными в литературѣ, являющей им лишь свое внѣшнее, бумажное бытіе. Грэвса забавляют ни

къ чему не обязывающіе и ничего не значащіе поэтическіе и другіе эксперименты. Гемингуей посвятил нѣсколько лѣт жизни изученію боя быков — подлинной реальности, по сравненію с призрачной (для него) литературой. Ольдингтон пишет роман за романом, но живут в них, кусками, как в «Смерти героя», только сгустки крови свидѣтельствуют о себѣ.

Такія же свидѣтельства составляют существо всѣх писаній Анри де Монтерлана и Дріе-ла-Рошеля, самых показательных людей того же поколѣнія во Франціи. Одна из книг Дріе начинается словами: «Как бы далеко я не восходил в прошлое моего сознанія, я нахожу в себѣ потребность быть человѣком». Желаніе как будто вполнѣ законное, однако именно эта потребность быть человѣком и мѣшает ему, как и Монтерлану, сдѣлаться до конца писателем. Правда, Дріе утверждает, что и «человѣком» ему стать не удалось, «ни воином, ни святым, ни поэтом, ни любовником» и что поэтому осталось ему одно — писать романы, т. е. предаться вымыслу и от себя уйти в литературу. Но в том то и дѣло, что трудность для него вовсе не в том, чтобы найти себя, а в том, чтобы себя потерять и тѣм самым выразить себя в искусствѣ. Человѣком он остался в той мѣрѣ, в какой им был всегда, и этого человѣка — одного — мы как раз и находим во всѣх его романах, которым больше всего не хватает вымысла. Точно также и Монтерлан, при еще гораздо болѣе сильном художественном дарѣ, неизмѣнно прикован к себѣ, заворожен собой, не в силах отдаться собственному творчеству, которое раскрывает перед ним не міp, а лишь каталог жестов, поз и ролей доступных ему в мірѣ и, дав ему перелистать страницу, другую, ввергает его вновь в безысходную скуку, обратно к самому себѣ. Книги таких писателей, как эти два, интересны ровно постольку, поскольку интересны их авторы. Существенно в них не то, что онѣ строят, куда идут, а то, откуда онѣ исходят. И, конечно, всегда были книги, важныя только, как свидѣтельство, как «до-

кументы», как нѣчто только «человѣческое», но, кажется, прежде не существовало книг, которым именно эта человѣчность мѣшала бы стать искусством. Удивительно не то, что романы Монтерлана и Дріе художественно недосозданы, недостаточно значительны, как романы; удивительно, что они выходят такими именно потому, что интересны и значительны их авторы. Человѣку не всегда дано воплотиться до конца в художника, но странно, когда он не вполнѣ художник именно потому, что он слишком человѣк.

Можно ли винить отдѣльных писателей или цѣлое поколѣніе их в том, что они не справились с этим парализующим творчество противоборством духовных сил? Конечно нѣт; да и не в их личной неспособности тут дѣло. Разлад переживается не худшими, а лучшими из них; его корни проникают в большую глубину; суд над ним означал бы суд над всей современной культурой. Не ограничен он и поколѣніем, о котором до сих пор шла рѣчь: в болѣе старшем его не избѣжал ни Лоуренс, несмотря на его пафос ни Моріак, несмотря на его католичество. Оба эти автора исповѣдью и проповѣдью разрывают волшебство вымысла и замкнутость романа. К англичанам и французам можно было бы присоединить многих нѣмцев, итальянцев, многих русских, — если не из тѣх, что остались в Россіи, гдѣ каждаго давит заказ, и матеріал поглощает одновременно форму и содержаніе, то из тѣх, что пишут или пытаются писать в эмиграціи, гдѣ души обнажены, почти как на войнѣ, и борьба за сохраненіе (хотя бы и духовное) голаго «я» мѣшает ему стать личностью и раскрыться в творчествѣ. Вся литература сейчас полна отвращеніем к литературѣ: к готовым ея формам, приспособленіе к которым оплачивается слишком дорого, а дается черезчур легко, к литераторской спеси и журнальному вранью, к фіоритурам и орнаментам, к позорной гладкости подравнивающей и причесывающей мысль, к словесной истинѣ, к поддѣльной красотѣ, к напыщенной и напускной морали.

Пусть увлекаются, путают, так яростно кричат о голом королѣ, что заглушают и сказку, в которой о нем разсказано, пусть принимают вымысел за ложь и творчество за припрятыванье жизни, все таки — положа руку на сердце — развѣ отвращеніе это не оправдано?

Оно оправдано, потому что в самом дѣлѣ существует в том же явленіи его другая сторона: литература для литераторов, литература оторвавшаяся от человѣка. Она существует, как давным давно установленная, до мелочей разработанная система жанров, стилей, манер, пріемов, чего угодно: только выбирай. Система допускает участіе в ней все новых и новых лиц, но участіе это дѣлает замѣтным, выдвигает вперед, лишь при условіи усовершенствовать какую нибудь ея часть, включить еще неизвѣстный механизм в сцѣпленіе привычных механизмов. От писателя требуется даже не «frisson nouveau» (как довольно таки безцеремонно Гюго выразился о Бодлерѣ), а лишь новый «эффект», как о том говорил еще Гоголь: «Всякій от перваго до послѣдняго, топорщится произвесть эффект, начиная от поэта до кондитера, так что эти эффекты, право, уже надоѣдают и, может быть, XIX вѣк по странной причудѣ своей, наконец, обратится ко всему безъэффктному.» Девятнадцатый вѣк, как мы знаем, надежды этой не оправдал, а двадцатый и самую безъэффектность сдѣлал эффектом. Арсеналом всѣх пріемов и значит всѣх эффектов обладает писатель во всеоружіи мастерства. Но бѣда в том, что само это мастерство и загоняет писателя в тупик, он не знает куда примѣнить его, что с ним дѣлать. До поры, до времени можно обойтись при помощи все растущих тонкостей и усложненій, побѣждать литературу усугубленіем самой литературности; так и поступают в наше время такіе, например, глубоко одаренные люди, как Вирджинія Вульф или Жироду. Но в таких случаях писателю все больше начинает измѣнять чувство жизни, пока оно не исчезнет совсѣм, уступив мѣсто нѣкоей разсудочной иллюзіи. Как человѣк, он может быть и вполнѣ нормально уча-

ствует в жизни, но как художник выпадает из нея. Он все может и ничего не должен; он ищет сильнаго и рядом внѣшняго принужденія. В поэзіи, Малларме и Валери дали классическіе примѣры потребности в заказѣ, и даже предсмертные истерическіе вопли Андрея Бѣлаго, требовавшаго от «партіи», чтобы она его вела (т. е. собственно принудила бы его творить) объясняются не одной лишь затравленностью и нуждой в подачкѣ.

Что такое марево литературы, оторвавшейся от жизни, что такое литературная жизнь, это всѣ знают, это знал Блок (когда писал «Друзья» и «Поэмы»), это знает Клодель, у котораго есть стих: «L'homme de lettres, l'assassin et la fille de bordel, это можно узнать, если заглянуть в сплетническія записи Гонкуров, в многотомную пустыню дневника Жюля Ренара, или в удручающія записки Арнольда Беннета, гдѣ даже нѣт и литературы, а есть лишь литераторство, спесь и гонорар, всего же проще — в литературное кафе, гдѣ литераторы бесѣдуют о литературѣ. Живому человѣку все это трудно перенести. Читатель поэтому и обращается к біографіям и автобіографіям, к психологическим и прочим «документам», что жизнь и человѣка он находит только в них. Движимый тѣм же отвращеніем и той же потребностью, «документы» начинает предлагать ему и сам писатель. Вмѣсто романа или драмы пишет он воспоминанія, исповѣдь, психоаналитическія признанія, вродѣ тѣх, какія требуются от паціентов Фрейда. В худшем случаѣ излагает нормальную или клиническую біографію своих знакомых; в лучшем (все таки в лучшем) разсказывает о себѣ, выворачиваясь наизнанку по возможности полнѣе, чѣм кому либо удалось вывернуться до него. Иные авторы пишут нарочито наперекор литературѣ: в безпорядкѣ, уличным языком, не сводя никаких концов с концами; в Германіи их развелось множество послѣ войны; французов, менѣе привычных, тѣм же способом напугал и восхитил Селин. Всѣ эти, если можно так выразиться, автобел-

легристы забываютъ заповѣдь даже не романиста или драматурга, а философа Киркегора: «Писателю, пользующемуся собственными переживаніями, душевный тактъ внушает никогда не выкладывать всю правду без разбора, но хранить ее при себѣ, сообщая лишь многообразныя ея преломленія». Киркегор не рекомендует обмана, — он был очень правдивый человѣк — но он понимает, что правда не математическая, а человѣческая правда вообще не высказываема иначе, как в преломленіи, в иносказаньи, в вымыслѣ. Но до этого нѣт дѣла нашим современникам; они только и бредят о том, чтобы сорвать литературные покровы, обнажить сокрытое нутро.

Потребность эта оправдана; мы это уже признали. Но она осуществляется невѣрно; это тоже слѣдует признать. Безблагодатная исповѣдь никого не измѣнила и не измѣнит. Разоблаченное нутро — такая же ложь, как и красивыя слова. Безформенность и формализм, документ и пустая техника — явленія равнозначныя, симптомы того же самаго распада. Распад можно лишь ускорить, если усилить удареніе на одной из распавшихся сторон. Предмет «человѣческаго документа», *только* человѣк, есть умаленіе подлиннаго человѣка. Там, гдѣ «уже не голос, только стон» недалек уже и крик животнаго, а то и скрип плохо смазанной машины. Искусство без человѣка — не вполнѣ искусство, но и человѣк в существѣ своем оторванный от искусства — не весь, не полный человѣк. Разлад можно побѣдить лишь возстановив расколотое единство, так чтобы не было больше ни «прежде всякой литературы — «я сам», ни «прежде моей (или чужой) личности — моя литература». Борьба челвѣка с творцом погаснет лишь в творческой душѣ воскресшаго в своей цѣлостности человѣка.

Ю. Терапіано.

О ГУМИЛЕВѢ.

Издательство «Петрополис», в ознаменованіе пятнадцатилѣтія со дня смерти Н. С. Гумилева, выпустило двѣ его книги: второе изданіе третьяго сборника стихов «Чужое небо» и, печатаемую в первый раз, драматическую поэму «Гондла».

Изданіе «Гондлы» — несомнѣнная заслуга издательства перед всѣми, кто интересуется творчеством Гумилева; но немного досадно, что вмѣсто послѣдней крупной вещи Гумилева, также еще неопубликованной, — «Отравленная Туника» (рукопись которой, кстати, имѣется в Парижѣ), «Петрополис» предпочел перепечатать «Чужое небо» — книгу раннюю и, сравнительно, слабую.

Хотя широкая извѣстность Гумилева началась с четвертой его книги «Жемчуга», «Чужое небо», тѣм не менѣе, не является открытіем для читателя. Сам Гумилев перепечатал многія стихотворенія из «Чужого неба» в «Жемчугах» и в других книгах («Дѣвушкѣ», «Сомнѣніе», «Сонет», «Она», «Жестокой», «У камина», «Оборванец», «Ослѣпительное»); такія стихотворенія, как «Из логова зміева», «Современность», «Паломник», «Абиссинскія пѣсни», «Открытіе Америки», в свое время, в Россіи, многіе знали наизусть и здѣсь всякій мало-мальски освѣдомленный читатель видит их не впервые, тогда как «Отравленная туника» была бы интересна не только для зарубежнаго читателя, но и для изслѣдователя творчества Гумилева, которому,

в условіях эмиграціи, важно было бы имѣть перед собой возможно болѣе полно гумилевское наслѣдство.

Во время своего пребыванія в Англіи, перед отъѣздом в Россію, Гумилев работал над циклом шотландских и ирландских легенд. Исторія Гондлы, ирландскаго королевича, воспитаннаго в странѣ викингов, и сумѣвшаго своим примѣром обратить воинственных скандинавов на путь христіанства, составляет сюжет «Гондлы».

С чисто художественной точки зрѣнія «Гондла» не представляется большой удачей Гумилева. Несмотря на прекрасные стихи, которыми написана поэма, несмотря на благородство сюжета и на отдѣльныя блестящія мѣста (например, когда, всѣми оставленный, Гондла обращается с рѣчью к лѣсу, скалам и морю), поэма в цѣлом слишком «литературна», в стилизованно-шекспировских тонах. Но, принимая во вниманіе отношеніе самаго Гумилева к тому, что он считал самым достойным для поэта, для героя, интересно, что Гондла не принадлежит уже к «сильным, злым и веселым», он горбун-калѣка, отказавшійся от поединка чести, и его побѣда над храбрыми викингами-язычниками состоит в отказѣ от земной чести и славы, он побѣждает не силой, а нищетой духа.

В интересной вступительной статьѣ Георгія Иванова, предпосланной «Чужому небу», автор, в теченіе долгаго времени близко знавшій Гумилева, так характеризует нам его взгляды на жизненное и поэтическое дѣло:

«Гумилев твердо считал, что право называться поэтом принадлежит только тому, кто в любом человѣческом дѣлѣ будет всегда стремиться быть впереди других, кто, глубже других зная человѣческія слабости, эгоизм, ничтожество, страх смерти, будет на собственном примѣрѣ каждый день преодолѣвать в себѣ «ветхаго Адама». И — от природы робкій, тихій, болѣзненный, книжный человѣк, он приказал себѣ быть

охотником на львов, солдатом, награжденным двумя георгіями, заговорщиком, рискующим жизнью за возстановленіе монархіи. И то же, что со своею жизнью, он продѣлал над своей поэзіей. Мечтательный, грустный лирик, он сломал свой лиризм, сорвал свой неособенно сильный, но необыкновенно чистый голос, желая вернуть поэзіи ея прежнее величіе и вліяніе на души, быть звенящим кинжалом, «жечь» сердца людей.»

Побѣда, слава, подвиг — блѣдныя
Слова, затерянныя нынѣ,
Гремят в душѣ, как громы мѣдные,
Как голос Господа в пустынѣ.

При жизни нѣкоторые упрекали Гумилева в позерствѣ; их раздражала внѣшняя маска Гумилева, его поза мэтра, его формальный подход к стихам. Но, по существу, Гумилев был искреннѣе, чѣм казался. Жизнь свою он ломал и умереть сумѣл — мужественно, спокойно, не для позы, а во имя принятаго на себя внутренняго подвига. Столь заботившійся о безупречном формальном мастерствѣ, Гумилев хотѣл большаго, чѣм просто писать хорошіе стихи. Он искал способа вернуть слову его прежнюю силу, которой обладало слово в тѣ дни, когда

Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

Он мечтал вернуть поэзіи ея магическое значеніе. Вспомним «Дракона», гдѣ сила слова побѣждает смерть, — и, несомнѣнно, в представленіи Гумилева, идеальная поэзія, подобно пѣснѣ Орфея, должна была имѣть власть над смертью.

Для того, чтобы сдѣлать себя достойным возвыситься до такой поэзіи, Гумилев предписал себѣ жизненный подвиг, рисковал—не только головой, но и самым для него страшным — возможностью творческой неудачи.

Как средство для нахожденія Слова, Гумилев избрал подвиг. В том, как он понимал борьбу с «ветхим Адамом», была для него — роковая ошибка, которую он начинал сознавать в послѣдніе годы жизни — начинал понимать, что в его блестящей поэзіи не все благополучно.

Молодой Гумилев велѣл себѣ стать героем и совершать подвиги во внѣшнем мірѣ. Подвиг он понимал, как понимали его гомеровскіе герои, — но «ветхій Адам», по настоящему, преодолѣвается Евангеліем. Уже в «Колчанѣ» Гумилев чувствует этот разлад, неблагополучіе:

Простой рыбак Тебѣ дороже
Великолѣпнаго волхва.

и далѣе, в том же стихотвореніи, очень примѣчателен конец:

В мой самый лучшій, свѣтлый день,
В тот день Христова Воскресенья,
Мнѣ вдруг примнилось искупленье,
Какого я искал вездѣ.
Мнѣ вдруг почудилось, что, нѣм,
Изранен, наг, лежу я в чащѣ,
И стал я плакать надо всѣм
Слезами радости кипящей.

Поиски Слова должны были привести Гумилева к тому состоянію внутренняго перегоранія, когда человѣк добровольно отказывается от всего внѣшняго, добровольно становится нищим духом. В стихотвореніи «Память» («Огненный Столп») Гумилев как бы подводит итог своим «перемѣнам души» и как бы прощается со своим любимым «воплощеніем» в «мореплавателя и стрѣлка». Чрезвычайно интересно у Гумилева и его, как бы наростающее, (первый мотив еще в «Чужом Небѣ» — «Сонет») ощущеніе неразрушимой жизни

души, ощущеніе как бы «четвертаго измѣренія», сильно замѣтное в «Огненном Столпѣ» («Душа и тѣло», «Шестое Чувство»), особенно — в стихотвореніях «У цыган» и «Заблудившійся трамвай», которыя, сами по себѣ, — открывают нам новаго Гумилева, того, каким он становился наканунѣ своей преждевременной смерти.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Д. Мережковскій. Лица Святых (От Іисуса к нам). т. I: Павел. Августин. Петрополис. 1936.

Если бы писателям принято было давать прозвища, опредѣляющія основную их черту — как это иногда дѣлается с государственными или военными дѣятелями, или как Мережковскій в новой своей книгѣ пробует «опредѣлить» святых («Достопочтенный», «Удивительный», «Любезный») — то самому Мережковскому надо было бы дать то же прозвище «Удивительнаго». Этот эпитет в примѣненіи к нему отнюдь не пустой риторическій комплимент, он полон реальнѣйшаго смысла: Мережковскій, на самом дѣлѣ, постоянно удивляет. При поверхностном чтеніи кажется, что Мережковскій пишет всегда о том же, но внимательный читатель должен признать, что едва ли не в каждой новой книгѣ Мережковскій дает не то, что от него ожидаешь по предыдущим. Дѣло, конечно, не в *темѣ* Мережковскаго, которая всегда едина — не может не быть единой у всякаго подлиннаго писателя, а особенно у такого насквозь пронзеннаго метафизикой, как автор «Іисуса Неизвѣстнаго». Внутренне эта тема развивается согласно своей очень строгой, почти непререкаемой логикѣ. Но если смотрѣть извнѣ, то в этом развитіи — на каждом шагу неожиданности: неожиданности *сюжета*, в который тема облекается (напр. в «Наполеонѣ» — ибо сюжет свойствен не одной беллетристикѣ, а также исторіи и философіи), неожиданности *интонаціи*, как в «Павлѣ» и «Августинѣ».

Послѣднюю неожиданность особенно важно отмѣтить и понять, ибо она вскрывает существеннѣйшую сторону устремленій Мережковскаго, так часто превратно понимаемых. Прислушаться к интонаціи необходимо: без этого можно оцѣнить историческій метод Мереж-

ковскаго, его художественныя достоинства, отдѣльныя его мысли, но обязательно пройдешь мимо единственно важнаго — творческой его личности. Но предварительно надо сказать нѣсколько слов о мѣстѣ, занимаемом «Лицами Святых» в линіи развитія уже упомянутой темы.

Не только чисто тематически, но и исторически-сюжетно новый цикл Мережковскаго — прямое продолженіе «Іисуса Неизвѣстнаго». По прежнему, сочетая научное изслѣдованіе и интуитивное проникновеніе в метафизическую суть явленій — «исторію» и «мистерію» — Мережковскій стремится постигнуть смысл «теченія времен», то алгебраическое уравненіе, которое он опредѣляет: a + b + c = a + b + c + x, гдѣ неизвѣстное x символизирует «чудо», «свободу», «дух». Но что же тогда означает подзаголовок «От Іисуса к нам»? Что может измѣнить «исторія» в «мистеріи»? Вѣдь x — тогда внѣ времени, м. б. «не от міра сего», во всяком случаѣ в исторіи не мѣняется. Мережковскій и не говорит об измѣненіи по существу — и все таки исторія не случайность, не «кажущееся» («есть как бы не есть») даже в планѣ мистеріи. Что то в мірѣ мѣняется ежеминутно.

«Кажется, в дни Гомера — пишет Мережковскій, — глаз человѣческій не отличал зеленаго цвѣта от голубого, а в наши дни уже отличает, м. б. потому, что за 3.000 лѣт в человѣческом тѣлѣ что то измѣнилось — пошло вперед; так же точно измѣнилось м. б. что то, вперед ушло, и в человѣческом духѣ, за полторы тысячи лѣт христіанства, от Августина до нас, и по тому, как измѣнилось, можно судить о том, куда и как движется в человѣчествѣ дух.»

Значит ли это, что Мережковскій, устремленіе котораго мы привыкли считать «апокалиптическим», перевел стрѣлку своих часов с «вѣчности» на «исторію», принял вѣру в прогресс, в его неизбѣжность и благо?

Не в человѣческій прогресс, во всяком случаѣ. Дви-

женіе идет ко «Граду Божьему», отнюдь не к «Граду Земному» — но в исторіи оба града «смѣшаны», поэтому и ко второму нельзя остаться без вниманія. Движеніе идет м. б. даже *помимо* человѣчества, если же *через* него, то только в лицѣ лучших его представителей. Выбор Павла и Августина, как начавших путь «от «Іисуса к нам», таким образом, уже достаточно показателен для представленія Мережковскаго о направленіи этого движенія. Но еще показательнѣе то — какими именами Мережковскій эту линію продолжает. «Если бы он жил в наши дни, он был бы наш», скажет о нем (Августинѣ) Лютер; то же мог бы сказать и Паскаль (ученик Янсенія, ученика Августинова), в XVII вѣкѣ» — пишет Мережковскій. Итак: Павел, Августин, Лютер, Паскаль. Развѣ можно было выбрать болѣе свободную, менѣе догматически-холодную, болѣе человѣчески-правдивую и убѣдительную дорогу?

Неслучайность этого выбора и подтверждает новая (впрочем, такая ли уж неожиданная?) интонація Мережковскаго. Его почему то принято считать «холодным», «нечеловѣчным», даже «безчеловѣчным». Конечно, он безжалостно, порой жестко, «открывал нам глаза» на наши язвы, не давал «успокоиться», требовал, чтобы мы «обратились», т. е. «перевернулись». Но означало ли это отсутствіе любви, теплоты? Мнѣ этот вывод всегда казался малодушным. Послѣ «Павла» и «Августина» не остается больше сомнѣній: Мережковскій заговорил так тепло и любовно, с таким «состраданіем», что большаго «сочувствія» нельзя и требовать. Не опыт церковный, не опыт избранных — человѣческій, м. б. даже всечеловѣческій опыт. «Как это не странно — пишет Мережковскій о Павлѣ — первый, все для него рѣшающій опыт единоличен, внѣцерковен... не это от Церкви, а Церковь от этого». И еще: «Вот гдѣ опыт Павла есть опыт не только святых, но и наш. Вѣдь и мы — такіе же грѣшники, как Савл, с тою лишь разницей, — увы, не в нашу пользу, — что он себя считает «извергом», а мы себя — недурными

людьми». Еще яснѣе эта «человѣчность», общность предначертаннаго всѣм пути — в Августинѣ этом «мыслящем тростникѣ», «Святом интеллигентѣ», мучающемся, как и мы, разладом между вѣрой и разумом и не могущем отказаться от своего «мышленія». Человѣчность» эта не только біографическая, но и сознательная. Павлом руководит любовь — «не только общая, ко всѣм людям вмѣстѣ, но и к каждому в отдѣльности». А Августин прямо говорит: «Братья мои, я не хочу спастись без вас».

«Братья мои, я не хочу спастись без вас» — говорит и Мережковскій на каждой страницѣ свой книги. Вот откуда и нѣкоторая его «соціальность», его вниманіе к «Граду Земному — Риму», к воплощаемой в нем человѣческой культурѣ. Вот откуда сам тон этой книги, так чудесно потемнѣвшій. Нѣсколько удивляет, что и тон и устремленіе эти впервые так ясно прорвались у Мережковскаго там, гдѣ он говорит о «страшном», почти «возмутительном» понятіи предопредѣленія. Как совмѣстить предопредѣленіе и этот возглас «Братья мои»... Ужас ли неслыханный — тайна предопредѣленія или и впрямь по Павлу—Радость, и по Паскалю — «Радость, радость, слезы радости»? И как сочетать «избранность» и «свободу, уничтожающую Закон»? Парадокс? — Возможно. Но в планѣ «исторіи — мистеріи» Мережковскій уже давно опредѣлил, что «чѣм страннѣе — тѣм достовѣрнѣе». И уже не в видѣ вопля отчаянья, а в видѣ точной и достовѣрной надежды, понемногу раскрывает он то, что является для него подлинным и сколь неожиданно-радостным смыслом предопредѣленія: «хочет Бог, чтобы *всѣ* спаслись» (слова Павла). И хотя Августин и предупрждает, что «наше спасеніе остается до конца жизни невѣрным» — Павлова увѣренность звучит и в нем, не отмѣняя, конечно, трагедіи, но таинственно и радостно преображая ее.

Ю. Мандельштам.

М. Агѣев. «Роман с Кокаином». — Издательская коллегія парижскаго объединенія писателей.

«Повѣсть с кокаином», печатавшаяся отрывками в одном уже исчезнувшем с тѣх пор журналѣ и так неудачно переименованная теперь (должно быть совсѣм не по волѣ автора), сразу же обратила на себя вниманіе, как произведеніе писателя впервые выступающаго в литературѣ и несомнѣнно одареннаго. Впечатлѣніе одаренности остается и сейчас, хотя недостатки книги и становятся замѣтней во втором, болѣе внимательном ея чтеніи.

О дарованіи любого автора можно судить по словесной ткани его книг, по степени ея свѣжести, по силѣ проникающей ее жизни, и это независимо от того, пишет ли он языком нарочито украшенным, насыщенным (как у нас Ремизов или Лѣсков) или напротив (как Стендаль) подчеркнуто сухим и трезвым. Словесная ткань Агѣевской книги несомнѣнно жива, подобна протоплазмѣ, а не сукну, даже и хорошей выдѣлки. Она жива, несмотря на то, что, как у большинства эмигрантских писателей младшаго поколѣнія, знаніе русскаго языка не поспѣвает у него за чувством прозаическаго стиля. «Первый пушистый снѣг, словно осколки мрамора в синей водѣ, медленно падал на Москву»; это и хорошо увидено, и хорошо сказано. «Руководимый той страшной увѣренностью, будто осторожность при нажатіи курка сдѣлает выстрѣл менѣе оглушительным»; это (в данном контекстѣ) тоже хорошо, и психологически, и литературно. Таких удач в книгѣ довольно много. Ея вторая часть начинается, однако, так: «Бульвары были как люди: в молодости, вѣроятно, схожіе, — они постепенно мѣнялись в зависимости от того, что в них бродило». Вялая мысль здѣсь выражена претенціозно и до крайности неуклюже. «Стыдливость относительно высказыванія своих душевных сторон» или «тревожный звонок (. . .) пріобрѣл для меня характер радостной, волнующей значимости», — это уж совсѣм плохо, и неизвѣстно также зачѣм автор

упорно называет подкову копытом (стр. 23 и 25). Настаивать на таких неграмотностях было бы однако несправедливо. Всѣ дефекты языка исправимы, кромѣ врожденной его мертвенности.

Пороком этим отнюдь не поражено и само повѣствованіе Агѣева. Он умѣет заставить нас пережить переживанія его героя, замкнуться вмѣстѣ с ним в жалкій и смрадный круг его существованія. Это уже совсѣм не мало, хотя для настоящаго романа с его цѣлостно воображенным міром и живущими полною жизнью людьми этого и недостаточно. Повѣсть написана в первом лицѣ. Все что пассивно испытывает ея герой — среди классных товарищей, во время ночного кутежа, при соприкосновеніи с женщинами или от понюшки кокаина — все это передано очень убѣдительно, но убѣдительностью этой передачи и исчерпывается художественный смысл и духовное содержаніе книги. Остальныя дѣйствующія лица живут не сами по себѣ, а лишь с точки зрѣнія героя и по отношенію к герою. Читая о них, мы чувствуем, что разсказчику они интересны лишь в силу их связанности с его собственной судьбой, но дабы заинтересовать ими и нас он слегка шаржирует характерныя их черты, а затѣм удивляется собственному шаржу. Разсужденія, вставленныя в книгу, рѣчи Буркевича и школьнаго батюшки, например, или письмо Сони, или философскіе выводы из кокаинных пережваній, недостаточно продуманы, чтобы быть интересными сами по себѣ, и недостаточно связаны с конкретными человѣческими образами, чтобы оказаться органически вплетенными в неразрывную ткань романа. То, что разсказчик пережил, живет, — но исключитльно жизнью самаго разсказчика. Мы читаем агѣевскую книгу, как читали бы подлинныя, документально-интересныя воспоминанія Вадима Масленникова, ея героя, человѣка писательски одареннаго. От романиста, от художника требуют не только этого, или даже требуют совсѣм другого.

Но не будем судить книгу за то, чего в ней нѣт (тѣм

болѣе, что этого нѣт и во многих других книгах). Агѣев дал нам, что мог, и мы не отвергаем его дара. В его книгѣ есть правда и грусть, идущія из глубины; она мѣстами безпомощна, но нигдѣ не поддѣльна. Не понравится она может; но ее не так легко забыть.

В. Вейдле.

В. Катаев. «Бѣлѣет парус одинокій». Госиздат 1936.

Среди безчисленных «высказываній» и «показов», среди книг «зовущих» и «доказывающих», повѣсть В. Катаева «бѣлѣет одиноким парусом» непосредственности, свѣжести и какой то трогательной скромности.

Книга Катаева — повѣсть о жизни и приключеніях двух мальчиков, из которых один едва ли не сам автор. Есть, конечно, и обязательный совѣтскій сюжет — бѣгство бывшаго «потемкинца», революція 1905 года, вооруженная борьба, погромы. . .

Катаев, талант котораго в простом, ясном — «цѣпком» — ощущеніи жизни, опирается, в развитіи этого разсказа, очевидно на собственныя свои дѣтскія воспоминанія, поэтому он пишет — его — увѣреннѣе, проще, безошибочнѣе, чѣм другія свои произведенія, поэтому он легко преодолѣвает и «очеловѣчивает» обязательную сторону сюжета — революціонные подвиги Гаврика, Пети, «большевика» Терентія.

«Борьба классов» — разница условій существованія и психологіи двух мальчиков — взята с бытовой и человѣческой стороны — потому оправдана и убѣждает.

Впрочем и время, о котором пишет Катаев, не наше скучное время стахановских достиженій и бюрократической революціонности, а романтическая эпоха возстаній, конспирацій, борьбы одного против всѣх.

И обстановка, гдѣ происходит дѣйствіе повѣсти так гармонирует с наивным романтизмом, с незатѣйливой

ея фабулой — привольная, немного безалаберная жизнь южнаго портоваго города и — море, море, море.

Катаев любит и ощущает море, как человѣк, который узнал его безошибочно и навсегда: в предразсвѣтном туманѣ, в погонѣ за «косяком» макрели, под ласковым утренним солнцем, в безсонных ночах у костра с одесскими «рыбалками». Ему не нужно выдумывать и сочинять — он просто воскрешает свои воспоминанія.

Вот почему, не будучи «большой» книгой, повѣсть Катаева радостно волнует и обнадеживает — вѣдь можно, значит, простотой, непосредственностью, талантом преодолѣть даже «соціальный заказ».

П. С.

Юрій Герман. «Наши Знакомые». Москва. 1936.

Какая это радость — хорошая книга. Но как рѣдко нам дѣлают такіе подарки. Книга Юрія Германа, мнѣ кажется, еще не полная удача, но все же из нея тянутся такія нити подлинной, таинственной жизни («протоплазмы»), которыя поддѣлать и забыть не хочется.

Нѣкой Антонинѣ в результатѣ всяческой, впрочем знакомой, гимнастики, в какую то пору ея жизни, — больше уже нечего дѣлать. Анна Каренина, Мадам Бовари, чуточку — Настасья Филипповна. В противоположность установившемуся обычаю, Юрій Герман рѣшил свою героиню спасти, — и растянул роман на 600 с лишним страниц. Когда Антонина уже «готова» (под поѣзд, стрихнин, кабак, или так, подобно Ивану Ильичу, протянуть ноги), в книгу входит новая сила (или старая, но по новому направленная). Наши знакомые. Не всѣм знакомые обыватели: собутыльники, партнеры по винту, великосвѣтскія дуры и пр. . . нѣт, а люди со сложной біографіей, бойцы за новую жизнь,

строители, комиссары. Они спасают Антонину, выводят ее на широкій путь творчества (о котором она всегда мечтала). Она учится по ночам. Конечно, немного смѣшна «Анна Каренина», которая алгебры не знает и от формулы квадратнаго уравненія получает нравственное удовлетвореніе (этакую спасти легче). Ей поручают отвѣтственную работу: организовать ясли, больницу, «комбинат». Трибуна, музыка, привѣтствія, благодарность «раскрѣпощенных» матерей и хозяек. Антонина чувствует, она нужна, она любима, она полноправный член новаго общества.

Попутно люди в безконечных діалогах разсказывают свои путанныя біографіи. Болтливы, болтливы «непреклонные бойцы» (или это авторы болтливы?) В своей послѣдней книгѣ «Дорога на Океан» Леонов на 625 с. разсказывает устами героев чью-то безконечную біографію, которую нѣт ни сил, ни основаній дочитать.

Наконец Антонина встрѣчает своего суженаго. И читатель расположенно закрывает книгу. Теперь Антонинѣ 30 лѣт, алгебру она уже знает, в сущности конфликт лишь теперь начинается: что дальше? Что ждет ее? впереди?

Но за 1-ую часть, гдѣ юность и рост, благодарность к автору остается. «Одна ея рука была поднята немного кверху ладонью наружу, а другая была чуть опущена, щеки ея разрумянились, глаза ласково и тепло блестѣли и вся она излучала такое сіяніе молодости, силы, легкости, такую благостную и подлинную красоту, такую юную и напряженную жизнь. . .» Это почти Толстовское описаніе — колдовство. Да, Толстовская тайна — смѣсь, подлинная ткань жизни, не однородная, а переплетающаяся, противорѣчивая и добротная, — вѣет над этой частью книги. Роман начинается 1925 годом. Характерно, что «Толстовская», благодатная часть книги — соотвѣтствует годам НЭПА. А там дальше, с пятилѣткой, начинается, — схема. Радоваться тут нечему; я только описываю факт.

В. Я—скій.

О НОВЫХ КНИГАХ СТИХОВ.

I

Должность стихотворнаго рецензента в альманахах «Круг» оказалась сложнѣе, чѣм я думал: «Круг» выходит медленно — и страница «о новых книгах» растянулась почти что на полтора года. Трудно, считаясь с мѣстом и имѣя за плечами два готовых обзора, два обзора, написанных почти с годовым промежутком, присоединить к прежде написанному и этот обзор так, чтобы придать статьѣ общій тон. Условимся поэтому, что каждый обзор связан с другим лишь как высказыванія одного и того же автора о новых книгах стихов в разное время.

Поэзія *Георгія Иванова,* о которой кстати было бы сейчас поговорить в связи с выходом сборника его стихов «Отплытіе на остров Цитеру», заслуживает отдѣльной статьи — к ней мы еще вернемся в слѣдующем номерѣ «Круга».

Всякое собраніе избранных стихотвореній, хотя бы и сдѣланное самим автором, всегда бывает неполным. В данном случаѣ также приходится пожалѣть об отсутствіи нѣкоторых стихотвореній из «Вереска» и «Садов». В первой части, в которую вошли новые стихи Г. Иванова, представлено также далеко не все, что было им напечатано за послѣдніе годы. Тѣм не менѣе, путь, пройденный Г. Ивановым от ранних стихов до настоящаго времени очень показателен в смыслѣ развитія и углубленія его темы.

Мнѣ кажется, что именно в «Розах» Г. Иванов нашел себя, а прежніе его стихи, в которых, конечно, были всѣ составные элементы его теперешней лирики, всетаки не совсѣм равноцѣнны поэзіи Иванова эмигрантскаго періода. Замѣчательно, что несмотря на высокую оцѣнку поэзіи Г. Иванова, у нас как то еще не вполнѣ отдают себѣ отчет в том, кѣм стал Иванов именно в эмигрантскій період. Иванова обыкновенно считают представителем т. назыв. «петербургскаго періода» (каким он и был в «Садах» и в болѣе ранних книгах, т. е. в какой то мѣрѣ связанным с прежней эпохой, слегка несовременным. Но лирика «Роз» — это как раз явленіе той *послѣреволюціонной поэзіи*, о которой столько говорили и которую так ждали. Именно поэтому «Розы» так выдѣляются на фонѣ всего, что было написано за послѣдніе 15—20 лѣт в Россіи и в эмиграціи. Г. Иванов сумѣл почувствовать то, чего ни Пастернак, ни О. Мандельштам (в послѣреволюціонном творчествѣ послѣдняго) не услышали. Тема Россіи, тема крушенія, человѣческаго одиночества, гибели и прощенья, высшаго оправданья случившагося — и во внѣ, и в душѣ отдѣльнаго человѣка — открылась Иванову с новой остротой.

«Розы» и многіе стихи послѣ «Роз» — не только прекрасные стихи, рѣдкіе по своей музыкѣ; это — глубокая и страшная книга, быть может, одна из дѣйствительно страшных книг послѣдних лѣт. Под «невинными сладкими звуками» скрыта большая горечь, и отчаянье, и надежда:

. . . Это музыка міру прощает
То что жизнь никогда не простит.

И это принимаю» поэта, и его заклинанья, и его горькое «хорошо — что никого. хорошо — что ничего», и вся магія слова, которой так владѣет Иванов, как бы хотят скрыть, утаить под нѣжностью и прелестью прорыв — прорыв не только в сторону логически яснаго,

но и в область невидимаго, противоположнаго нашей логикѣ и нашему понятію о счастьѣ и жизни, которое выше судьбы не только отдѣльнаго человѣка, но и цѣлой эпохи. Этот прорыв дѣлает стихи Иванова такими памятными. Есть безошибочный признак распознанья настоящаго поэта — когда строки его постоянно возвращаются, вспоминаются сами собой. Есть в звуковой ткани стиха такая же возвращающаяся звуковая стихія; она всегда присутствует в словесных произведеніях в извѣстной мѣрѣ, но только у прирожденнаго поэта она появляется сама собой. Рядом со стихотвореніями Г. Иванова многіе другіе стихи, порой очень искуссные, кажутся надуманно-сухими, только отбивающими ритм — и недавній примѣр такого насильственнаго сопоставленія дал всякому чувствующему поэзію читателю наглядное доказательство.

Стихи *Л. Червинской*, собранные в книгу «Разсвѣты», почти всѣ появлялись в свое время в различных изданіях, о них много писали и спорили — признак сам по себѣ хорошій. Можно по разному воспринимать тематику и стиллистику Червинской, ея манеру — внѣшне как бы нарочито небрежную, стоящую почти на грани записи, дневника, личнаго высказыванія, но трудно с первых же строф не почувствовать, что Червинская, прежде всего, поэт очень индивидуальный. Вліяніе А. Ахматовой на послѣдующія поколѣнія поэтесс было тѣм болѣе губительным, что дѣло осложнилось особенностями женской психики. Женщина по своему существу тѣсно связана с темой Ахматовой — темой любовной, — и вот на долгіе годы вся женская поэзія была отравлена вліяніем Ахматовой, ея колея оказалась настолько глубокой, что никому — подчас очень одареным поэтессам, не удавалось остаться самой собою. Червинская была первой и, пожалуй, пока единственной, оказавшейся в состояніи найти свое личное выраженіе темѣ, дать самостоятельное и новое, в смыслѣ ощущенія, в смыслѣ внѣшней формы. Червинская очень точна и сдержанна в выборѣ, в чувствѣ слова;

ея небрежныя, на первый взгляд почти лишенныя «стихотворных признаков» строки, оказываются, по провѣркѣ — наиболѣе точно передающими то, что она хочет сказать. Червинская очень чувствует всѣ оттѣнки слова — и разнообразнѣйшая интонація, убѣдительная и доходящая в нужный момент до читателя — ея цѣнное открытіе. Стихи Червинской человѣчны. Ея лиризм, сдержанный, грустный, какой то просвѣтленный вполнѣ избѣгает позы, декламаціи, перегруженности метафорами — которые иногда так портят стихи нѣкоторых талантливых поэтов. Отданье себя, отказ, отблеск внутренняго тепла и вѣрности, вѣрности, несмотря на все, чему то главному, (Червинская глубоко права, не вполнѣ договаривая — чему) составляют основную прелесть ея поэзіи.

Книга *Антонина Ладинскаго «Стихи о Европѣ»* не приносит ничего новаго в смыслѣ дальнѣйшаго развитія темы этого интереснаго и талантливаго поэта. Та же легкость стиха, порой блестящаго (как, например, стихотвореніе о Лермонтовѣ — одно из лучших стихотвореній Ладинскго вообще), та же, нѣсколько стилизованная грусть, тот же, слегка театральный, контраст между «земным» и «небесным» и — постоянное ощущеніе Ладинскаго — сближеніе современной Европы с Римом эпохи упадка — в общем, мы находим в новой книгѣ тот же лирическій «воздух», который, вот уже десять лѣт, заставил обратить вниманіе на поэзію Ладинскаго. Формально — Ладинскій один из самых одаренных поэтов «эмигрантскаго поколѣнія», его чувство ритма, его образы, метафоры и умѣніе «повернуть строфу» всегда вызывают ощущеніе как бы физическаго удовольствія. У Ладинскаго есть как раз то, что так цѣнил в поэзіи Н. Гумилев. Но у Гумилева, остро чувствовавшаго «анатомію стихотворенія», блестящая поэтическая форма была дѣлом скорѣе «поэтическаго сознанія», тогда как у Ладинскаго, движимаго особенностью его дарованія, поэзія является дѣлом естественным, как птица поет, как роща шумит — и эта

естественность, искренность дают поэзіи Ладинскаго большую цѣлостность и яркость, которая всегда доходит до сердца читателя.

Новые стихи *Софіи Прегель*, выпустившей первую книгу два года назад, по темѣ и по пріему как бы продолжают прежніе. С. Прегель принадлежит к числу поэтов, ставящих себѣ прежде всего задачу выразительности и внимательной работы над стихотворной формой.

Впечатлѣнья внѣшняго міра, отдѣльныя картинки жизни, как бы моментальные снимки, запечатлѣвшіеся в памяти и связанные с тѣм, или другим душевным настроеніем, привлекают С. Прегель. Ея память зрительна, она хочет возможно болѣе ясно и кратко передать свое впечатлѣніе. В стихах Прегель есть простота и какая то внутренняя непритязательность, благодаря которым она избѣгает искушенія искусственной сложности, столь опасной для многих поэтов.

Книга стихов *Монахини Маріи*, стихов, насквозь пронизанных религіозными мотивами, должна вызвать у читателей многія чувства. В принципѣ — вѣра, как нахожденіе центральнаго утвержденія, центральнаго «да» не обѣдняет и не отнимает у человѣка ничего в планѣ творческом. Вспомним, например, Св. Бернарда или Симеона Новаго Богослова, с его великолѣпными византійскими, стихами. Когда главное рѣшено — то все дѣло в том лишь, как оно рѣшено и в каком планѣ. Религія — или огонь, «из себя выхожденіе», полное перерожденіе всего существа человѣка, или — лишь внѣшне, умственно воспринятая схема, основанная на довѣріи к чужим словам и к чужому опыту. Этими двумя крайностями искушается всякій поэт, который рискует высказываться о вещах религіозных.

Монахиня Марія поэт опытный, прошедшій в свое время прекрасную школу «Цеха поэтов». Стихотворным ремеслом она владѣет вполнѣ — и поскольку личный религіозный опыт и несомнѣнно искреннее рели-

гіозное горѣніе монахини Маріи способно передаваться читателю — книга эта может разсчитывать встрѣтить у него тот отклик, котораго она заслуживает.

II

Вышедшія в теченіе января мѣсяца 1937 г. книги «Годы и Камни» Юрія Софіева, «Тѣнь и тѣло» Анны Присмановой и «Ночью» П. Ставрова, составляют предмет этого обзора.

Поэты, представленные новыми книгами, не новички: самый «недавній» из них по литературному стажу в эмиграціи — П. Ставров выпустил свою первую книгу «Без послѣдствій» в 1933 году и тогда же начал печататься в зарубежных изданіях. А. Присманова и Ю. Софіев выступают на литературных вечерах и печатают свои стихи в журналах уже лѣт десять, об отдѣльных их вещах не раз высказывалась критика.

Тѣм болѣе интересно теперь провѣрить разрозненныя впечатлѣнія от отдѣльных стихотвореній. На литературных собраніях, или в журнальных стихотворных отдѣлах, часто то или другое стихотвореніе привлекает вниманіе, но не всегда отдѣльные «хорошіе стихи» свидѣтельствуют о появленіи новаго поэта. Иногда, сведенные в книгу, стихи не только проигрывают, но и приносят разочарованіе. Случайный удачный образ, музыкальность нѣскольких строчек, подкупающая читка — еще не дѣлают поэта. Случается и наоборот — стихи, отдѣльно напечатанные, не дают возможности ясно представить себѣ лицо автора; соединенные же в книгу — заставляют сдѣлать «открытіе». Поэтому с таким интересом и ждешь всегда выхода книги стихотворца, уже обратившаго на себя вниманіе.

Замѣчаніе à part: послѣдователи мифа о «парижской

школѣ» еще раз могут воочію убѣдиться, насколько «парижскіе поэты» различны: что общаго, в смыслѣ школы, между книгами Софіева, Присмановой или Ставрова?

Юрій Софіев один из хороших послѣдователей гумилевской школы; он не заимствует от Гумилева только внѣшній пріем или тематику, как, обыкновенно, дѣлают очень многіе стихотворцы, но его внутренній строй соотвѣтствует в чем то существенном гумилевскому и тематика сама собой из этого соотвѣтствія возникает. В этом внутреннем сродствѣ с Гумилевым для Софіева есть извѣстная опасность: гумилевская линія требует большой личной силы, выразительности, творческой щедрости. С формальной точки зрѣнія стихи Софіева хорошо построены. Недаром, не только как очередное увлеченіе, он

> В дни юности и трудной и суровой
> Возил, под орудійный лязг и шум,
> Истрепанныя книжки Гумилева
> На днѣ сѣдельных переметных сум.

За исключеніем нѣкоторых стихотвореній (примѣчательно, что даты с 1927 по 1935 г. остаются для стихов Софіева только хронологическими отмѣтками, и не вліяют на его общую линію) — почти вся книга Софіева выдержана в одном и том же тонѣ. Он вспоминает гражданскую войну, которой сам был участником, думает о покинутой Россіи и, находясь в эмиграціи, чувствует себя связанным — если не с настоящим, то с будущим («писал стихи и жил в года какіе»); его увлекает тематика странствій (однако Софіев невольный путешественник) — «Альпы», «Бовэ», «Замок Ричарда Львиное сердце», «Версаль» и т. д. Но, наряду с прекрасной школой и талантливыми хорошими стихами, в концѣ книги есть пять или шесть стихотвореній, в которых в нѣсколько статическую лирику Со-

фіева вырывается что-то из другого міра: — тревога, сомнѣніе, опустошенность и какое то просвѣтленіе. Плавное теченіе стиха, равновѣсіе — смущено, нарушено, как нарушен (очень удачно) даже размѣр в стихотвореніи «Это было в сентябрѣ на хуторѣ» в послѣдней строкѣ, — но именно в этих нѣскольких стихотвореніях, в строфах, как, например, —

Но, Боже мой, с какой послѣдней жаждой
Хотѣл я вѣрности и чистоты,
Предѣльной дружбы, братской теплоты,
С надеждою встрѣчался с каждым, с каждой —

Софіев стоит перед возможностью растратить свое имущество и, рискуя всѣм, вполнѣ найти самаго себя.

Книга *Анны Присмановой* «Тѣн« и Тѣло» очень удачно, примѣнительно к ея поэзіи, названа. Если поэзія есть только род замѣчательнаго издѣлія из словеснаго матеріала, по возможности в наиболѣе остро найденных, небывалых сочетаніях образов, т. е. «литература», а подлинно-человѣческое есть только тѣнь тѣлесных ощущеній, то книгу Присмановой нужно объявить очень интересной.

Душа, в небесном тюлѣ на канатѣ
Давно ты пляшешь в тѣсных башмачках.
Ах, не пришлось бы дѣвѣ на закатѣ
В концѣ смотрим остаться в дурачках.

Дѣйствительно Присмановой нельзя отказать в формальной ловкости и изобрѣтательности (к формальному блеску она очевидно, стремится). Вліянія М. Цвѣтаевой, Б. Пастернака и О. Мандельштама сказываются на протяженіи всей книги. Досадно, что Присманова не всегда может отдать себѣ отчет в том, насколько «от великаго до смѣшного один шаг» и, наряду с несомнѣнными находками в области стихотворчества, срывается в явно смѣшное, например: «производитель-

ница молока, корова», «а сон в отвѣт как смертник бьет в тюрьму», «вербуют ли к сухой войнѣ солдат, иль свѣжій броненосец с верфи сдвинут», «он (лебедь) как Бетховен поднимает ухо» и т. п. Вмѣсто с тѣм, во многих стихах Присмановой чувствуется и талант и сила и способность к подлинно-лирическому переживанію. Таково, например, стихотвореніе, посвященное В. Ходасевичу «Развѣ помнит садовник, откинувшій стекла к веснѣ», — лучшее стихотвореніе в книгѣ.

П. Ставров, самый «молодой» из разсматриваемых поэтов, поэтически является наиболѣе зрѣлым. Перевѣс того или иного элемента поэтическаго произведенія над другим — увлеченіе «формальными достиженіями», или «содержаніем», — постоянный грѣх молодых поэтов, тѣм самым грѣшащих против поэзіи; этого упрека Ставрову сдѣлать нельзя. Прежде всего он гармоничен и умѣет взвѣшивать свои силы. Менѣе всего его можно упрекнуть и в слѣдованіи какой либо современной модѣ. Поэзія Ставрова, на поверхностный взгляд, может показаться даже нѣсколько retardée, поздним декадентством, но может быть своеобразіе этого поэта и заключается именно в том, что он не боится оставаться самим собою. Еще когда мнѣ случилось писать о первой его книгѣ «Без послѣдствій», я указывал, что вліяніе Пастернака и особенно Анненскаго является слѣдствіем не только ученичества, но и внутренняго средства, особенно с Анненским. В новой книгѣ Ставрова о прямых вліяніях говорить уже не приходится, но он не отошел от своей темы. Тема Ставрова—столкновеніе между чувством обреченности человѣка и острым ощущеніем жизни. Гдѣ бы он ни был, в городѣ, на берегу моря, в полѣ, в городском кафе, человѣк для Ставрова всегда в центрѣ вниманія. Пріем Ставрова состоит в том, что он умышленно замыкает человѣка в круг его будничной обстановки, обыкновенных вещей, благодаря чему безисходность

жизни выступает еще рѣзче, голос звучит убѣдительнѣе, как, например, в очень характерных для него строках:

Слѣпой переулок. Слѣпой огонек.
Четырнадцать вдоль — и пять поперек.
Пустынное небо под такт шагов. . .

Или в стихотвореніях: «Все болѣе немыслим сѣрый свѣт», «В четвертом часу утра», «Этот сон невозможно понять», «Как дымок расплывается прочь».

Перейдем теперь к книгам истекшаго сезона, о которых тоже слѣдует дать отзыв.

Среди книг, вышедших в теченіе 1935—1936 г.г. прежде всего нужно отмѣтить «Неблагодарность» А. Штейгера, которая выдвигает его в первый ряд современных поэтов, и книгу В. Мамченко «Тяжелыя птицы». Об обѣих этих книгах отзывы были даны в первом выпускѣ «Круга» и я упоминаю о них лишь потому, что без упоминанія этих имен отчет о новых книгах стихов был бы не полным.

Имя Бориса Божнева, автора «Борьбы за несуществованіе», в свое время, т. е. в серединѣ двадцатых годов, связывалось с большими надеждами. Одаренный формально, Божнев был в то время едва ли не самым зрѣлым и опытным версификатором среди тогдашних поэтов. Вторая его книга «Фонтан», вышедшая в 1927 году, принесла нѣкоторое разочарованіе:

Б. Божнев «Silenntium Sociologicum», Париж, 1936. Лев Савинков Аванпост», Париж 1936. З. Шаховская «Дорога», Брюссель, 1935. П. Гладищев «В разлукѣ», «Парабола», 1935. М. Роос «Мартовское солнце», Паллин, 1936. Изд. «Нови». Е. Базилевская «Домик у лѣса», Таллин, 1936. Изд. «Нови». Б. Новосадов «Шершавые вирши», Таллин, 1936. Л. Гололицкій «Эмигрантская поэма», Таллин, 1936. Изд. «Нови».

Божнев остался таким же искусным, иногда даже изощренным стихотворцем, но всѣм стало ясно, что чуда, преображенія, того, что дѣлает стихи поэзией, в «Фонтанѣ» Божнев так и не достиг. Наконец, послѣ долгаго періода молчанья, Божнев опубликовал поэму «Silentium Sociologicum». К сожалѣнію, кромѣ возможности лишній раз отмѣтить общую талантливость Божнева, новая его поэма не принесла почти ничего. В ней есть хорошія строчки, например, в началѣ поэмы:

Повиноваться пѣнію нельзя,
Я призываю к неповиновенью.
Пускай поет цыганка бытія,
Ея, ея не слушай, вдохновенье.

Отдѣльныя удачныя строфы и строчки встрѣчаются во всей поэмѣ. Но в цѣлом — не получается ничего: Божневу сказать нечего. Поэма в цѣлом — умствованіе, изложенное в стихах, почти что публицистическая статья на заданную тему. С сожалѣніем приходится отмѣтить, что даже формальное чутье и чувство вкуса начали измѣнять Божневу: »святых серег незримый ореол увѣнчивает снизу орган слуха», или «довольно шуток, Пушкин был всерьез» — одинаково приносят одно разочарованіе.

Книга дебютанта Льва Савинкова «Аванпост» как будто бы по недоразумѣнію написана в Парижѣ, а не в Москвѣ, и вышла не в 1920 году, а в 1936. Темы ея (темы, а не тема), общій тон, наконец, даже явное вліяніе тогдашних поэтов (Есенина, «12» Блока) относятся к эпохѣ гражданской войны. Отбросив в сторону наше отношеніе к «психологіи» книги («поэт — это чернорабочій в мастерской человѣческих душ»), мы с удивленіем видим, что в 1936 году Савинков умудрился проглядѣть все, что дѣлалось в поэзіи — «эмигрантской» или «совѣтской», безразлично, за послѣдніе пятнадцать лѣт. Едва родившись, он уже оказывается ветераном. Кѣм окажется он в будущем — уви-

дим; но молодому автору слѣдует над многим подумать и очень многое узнать, если он, дѣйствительно, чувствует необходимость писать стихи.

Книга З. Шаховской «Дорога» принадлежит к тому, что обыкновенно называют «средней продукціей». Нужно отдать справедливость, что средній уровень усвоен Шаховской очень внимательно. Законныя для недавно дебютировавшей поэтессы вліянія обнаруживают чувство мѣры и извѣстный вкус (Ходасевич, Гумилев, кое кто из новых поэтов, например С. Прегель, с которой Шаховская перекликается в стхотвореніи «Ломоть хлѣба, жирный сыр овечій»). Тематика Шаховской — общая тематика современных стихов: любовь, разлука, тоска по родинѣ, размышленія о Богѣ — в нѣкоторых мѣстах звучит искренне. Срывы — вродѣ:

«На мертвомъ сердцѣ Суламифь,
В руках — песок тысечелѣтій» —

лишь изрѣдка нарушают ровное, моледичное, порой нѣсколько вялое теченіе ея строчек.

Книга П. Гладищева «В разлукѣ» (Каир) составлена из стихотвореній неравноцѣнных. Как в большинствѣ стихов, пишущихся внѣ Парижа, в книгѣ Гладищева преобладает вліяніе Гумилева — прекраснаго учителя, если только ученик сумѣет преобразить его вліяніе собственным переживаніем. Вліяет на тематику Гладищева и обстановка, среди которой ему приходится жить — Египет. Земная жизнь, гдѣ душа находится как бы в плѣну и вспоминает свою небесную родину, разлад духа и матеріи, составляет основную тему Гладищева.

В плѣну у тяжести, — в земном плѣну —
Томятся вещи и томятся люди.
О, стоит ли молить судьбу о чудѣ,
Так изступлено каждую весну.

Стихотворенія «любовнаго цикла», воспоминанія и «предметныя» — («Египетскій музей», «Сѣрый день в Каирѣ» и т. п.) менѣе удачны, они холодны, в них слишком явно замѣтен замысел.

Слѣдует отмѣтить книгу М. Роос «Мартовское Солнце». Видимо автор много поработал над стихом, благодаря чему ровность его строчек не переходит в условную ровность, но держится, пусть порой еще нѣсколько приблизительно, в его личном тонѣ. Чувствуется у молодой поэтессы и темперамент и движеніе, способность к динамической композиціи.

Книга Е. Базилевской «Домик у лѣса» пріятна простотой и чистотой тона. У поэтов, живущих в пограничных государствах (собственно — в бывшей Россіи) есть большое преимущество перед их «западными» собратьями: русскій пейзаж, который как бы поддерживает их, роднит их с русским воздухом. Наряду со стихотвореніями, навѣянными русской природой, Базилевская не чужда и общей темы современной поэзіи, того, что как то покойный Б. Поплавскій назвал «парижской нотой». В нѣкоторых стихах Базилевской есть и напряженіе чувства и извѣстная острота.

Борис Новосадов («Шершавые вирши») внутренне провинціален. Примитивное богоборчество, примитивная игра в кощунство (ранній Есеин), умышленная неряшливость «виршей», заранѣ разсчитанныя на эффект словосочетанія — все это, попросту, утомительно.

Перед нами мальчишкою Авраам,
Нами сто библій пережевано.
Мы построим уже послѣзавтра храм
Богу наиболѣе дешевому.

— т. п.

Однако, наряду с большими недостатками, в книгѣ то здѣсь, то там мелькнет хорошая строчка, иногда — цѣлая строфа, свидѣтельствующая о природной одаренности автора, о том, что если б он взял на себя

труд «о многом задуматься и многому научиться», мы, вѣроятно, встрѣтились бы с интересным поэтом.

Л. Гомолицкій, пишущій уже давно, имѣет пристрастіе к «большим полотнам». О качествѣ «Эмигрантской поэмы» — предоставляю судить читателю по нижеслѣдующей цитатѣ:

. . . . Всю ночь первоначальным полны
Тѣла забывшія вѣка;
Дыханья медленныя волны,
На них уснувшая рука. . .
То — зыбь над бездной затаенной
— Застынь — не мысль — полудыши! —
То бред и жалость полусонной
Полуживой полудуши. . .

Ю. Терапіано.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Борис Поплавскій. Домой с небес 3
В. С. Яновскій. Ее звали Россія 55
С. Шаршун. XII. Письмо другу 67
Н. Татищев. Отступленіе 74
Анатолій Алферов. Рожденіе героя (отрывок из романа) 92

Стихи: Б. Закович, Довид Кнут, Ант. Ладинскій, Ю. Мандельштам, Виктор Мамченко, Софія Прегель, Георгій Раевскій, Юрій Софіев, П. Ставров, Ю. Терапіано, Лидія Червинская, А. Штейгер 101

Ю. Фельзен. I. Возвращеніе из Россіи . . 120
» II. Умираніе искусства . . . 124
» III. Разрозненныя мысли . . 129
Юрій Мандельштам. Перечитывая Паскаля . . 132
В. Вейдле. Человѣк против писателя . . . 139
Ю. Терапіано. О Гумилевѣ 146

Библіографія:

Ю. Мандельштам. Д. Мережковскій «Лица святых» 151
В. Вейдле. М. Агѣев «Роман с кокаином» . . 155
П. С. Катаев «Бѣлѣет парус одинокій» . . . 157
В. Я—скій. Юрій Герман «Наши знакомые» . 158
Ю. Терапіано. «О новых книгах стихов» . . 160
Ю. Терапіано. Мочульскій «Владимір Соловьев». 174

Склад изданія:
PETROPOLIS-VERLAG A. G.
BERLIN W 15
MEINEKESTRASSE 19

Для Франціи и Бельгіи:
MAISON DU LIVRE ETRANGER
PARIS VI
9, RUE DE L'EPERON

printed in Germany